



Николай Гайдук

Спасибо одиночеству (сборник)

«Гайдук Николай Викторович»

2016

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус) я44

Гайдук Н. В.

Спасибо одиночеству (сборник) / Н. В. Гайдук — «Гайдук
Николай Викторович», 2016

ISBN 978-5-906101-43-3

Повести известного сибирского писателя Николая Гайдука – о добром и светлом, о весёлом и грустном. О любви, о преданности. И здесь же – повести, в которых автор исследует природу жестокого современного мира, ломающего судьбу человека. А, в общем, для ценителей русского слова книга Николая Гайдука будет прекрасным подарком, исполненным в духе современной классической прозы. «Господи, даже не верится, что осталась такая красота русского языка!» – так отзываются о творчестве автора. А вот что когда-то сказал Валентин Курбатов, один из ведущих российских критиков: «Для Николая Гайдука характерна пьянящая музыка простора и слова». Или вот ещё один серьёзный отзыв: «Я перефразирую слова Германа Фейна, исследователя творчества Л. Н. Толстого: сегодня распространяется пошлое, отвратительное псевдоискусство. Произведения Николая Гайдука могут быть противоядием этому – спасением от резкого, жуткого падения...» – Лариса Коваленко, учитель русского языка и литературы. Книга адресована широкому кругу читателей, ценителей искромётного русского слова.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус) я44

ISBN 978-5-906101-43-3

© Гайдук Н. В., 2016

© Гайдук Николай Викторович, 2016

Содержание

Время смеяться и время плакать	7
Глава 1	7
Глава 2	9
Глава 3	11
Глава 4	13
Глава 5	16
Глава 6	18
Глава 7	20
Глава 8	23
Глава 9	25
Глава 10	27
Глава 11	28
Глава 12	30
Глава 13	32
Глава 14	35
Глава 15	37
Глава 16	39
Глава 17	41
Глава 18	44
Глава 19	46
Глава 20	49
Глава 21	50
Глава 22	52
Глава 23	54
Глава 24	55
Глава 25	59
Глава 26	61
Глава 27	67
Глава 28	68
Глава 29	70
Глава 30	71
Человеку хотелось любви	74
Конец ознакомительного фрагмента.	104

Николай Гайдук

Спасибо одиночеству (сборник)

© Гайдук Н.В., 2016

Время смеяться и время плакать

Глава 1

Осенний ветер за окошком голосил и причитал, обдирая последнее золото с мокрых, словно бы заплаканных берёз. Ставня за окном поскрипывала широким деревянным крылом – заунывно курлыкала, не в силах улететь под небеса, заваленные перьями холодных облаков.

После кошмарной новости, громом ударившей по телефону, Полынцев закаменел возле окна. И долго так стоял – сутулым извоянием. И точно так же, как мелькали рваные листочки за окном, – мелькали рваные мысли: «Как же это так?..

И почему?..»

Затем кто-то пришёл, зашараборился в тёмных сенях. Это был сосед Семён Самоха, человек жизнерадостный, шумный.

Самоха, разбогатевший в тот год, самодовольный до ушей, в гости любил приходить не один, а с подругой своею, блондинкой – так он называл поллитру водки.

– Извини, что поздно, – заговорил сосед, поздоровавшись. – Вижу, свет горит...

– Поздно, – не поворачиваясь, многозначительно согласился Полынцев. – Поздно. И никто не извинит.

Самодовольная улыбка у Самохи укоротилась. – Не понял. В каком это смысле?

Хозяин не ответил. Правая, горделиво вскинутая бровь его, подрагивала чёрною подковкой.

– Проходи, – уже погромче пригласил хозяин. – Чего там расшиперился.

Услышав странный голос – ледяные, низкие регистры – сосед насторожился.

– Так я, может, не вовремя? – Нет, в самый раз. Присаживайся.

Сосед увидел бледное лицо, обрамлённое чёрно-серебристой каймой бородки.

– А что случилось?

Полынцев погонял по скулам желваки – бородка запрыгала. Глубоко и надсадно вдохнув и выдохнув, как человек, только что вынырнувший из воды, он хрипловато проговорил:

– Звонили... Бывшая моя...

– Жена, что ли? – Самоха отчего-то улыбнулся. – Ну и что она?

– Да ничего. – Полынцев опустил тяжёлые глаза. – Сказала, чтоб ты меньше скалился.

Покусывая верхнюю губу, похожую на заячью, сосед в недоумении пожал плечами.

– Ну, извини. – Сосед собирался уходить.

– Постой! – Полынцев подошёл к нему. – Ты что хотел? Чего сияешь?

– Да ладно, в другой раз...

– Другого раза может и не быть. Я уезжаю.

– Да? И с чего это вдруг? – Сосед бестолково похлопал глазами. – И далеко?

– В Ленинград.

И опять Самоха улыбнулся – заячья губа растянулась под коротким, но широким носом.

– Ты хочешь сказать, в Петербург? – Он поллитровку поставил на середину пустого стола. – А я контракт сегодня подписал. Американцы дали «добро».

– Ну, вот и славненько. Давай отметим. – Полынцев стаканами звякнул, выставляя на стол. – Значит, сельское хозяйство будет на подъёме?

– Будет. Куда денется? – Самоха присматривался к нему. – А что случилось-то? Можешь сказать?

Известково-бледное лицо хозяина стало ещё бледней. – Давай сначала врежем...

– Лады! – Сосед проворно скинул верхнюю одежду и подсел к небольшому самодельному столу.

Через минуту-другую на клеёнчатой скатерти мерцала трёхлитровая банка с огурцами, банка с мёдом, баночка с горчицей; хлеб нарезан по-мужицки – ноздревато-крупными ржаными ломтями.

– Отличный мёд, алтайский, – равнодушно похвалил хозяин, разливая по стаканам.

У Самохи глаза увеличились вдвое, когда хозяин выпил, забывая чокнуться и, перепутав банки, стал на хлеб намазывать горчицу и уплетать её в качестве мёда.

– Видно, сильно по мозгам шарахнуло, – вслух подумал сосед и скривился так, словно тоже горчицы налопался.

– Шарахнуло, так шарахнуло! – Полынцев губы вытер рукавом. – Ну, давай по второй. Семён покачал головой.

– И за что же мы пьём такими ударными темпами?

– За твой контракт.

– Да брось! Ты что как маленький?

– Да нет, я, кажется, сегодня повзрослел. – Мысли в голове Полынцева продолжали метаться как рваные листочки за окном. – Значит, говоришь, тебе дают «добро»?.. Ну, это хорошо... А ты займёшь мне денег?

Сосед поправил галстук, которым недавно стал себя хомутать – хлебная крошка с галстука упала.

– А сколько тебе? И зачем?

– Мне надо срочно лететь. – Полынцев угрюмо посмотрел за окно. – Хочу разобраться с козлами...

– Сельским хозяйством тоже заняться решил? – не без ехидства спросил Самоха, довольный тем, что с ним играют в прятки.

– Да-да. – Полынцев ухмыльнулся. – Капусту для козлов буду сажать на асфальте.

Почувяв что-то неладное, Самоха насторожился:

– А самого не посадят?

Глаза хозяина, блуждавшие по комнате, будто по тёмному лесу, остановились на охотничьем остром ноже, мерцающем посередине стола.

– Не исключаю такой возможности.

Сделав губы трубочкой, Самоха присвистнул.

– И как же после этого я тебе займу?

– Элементарно. – Полынцев твёрдо посмотрел ему в глаза. – Я расскажу – и ты займёшь. Если не козёл...

– Слушай! – Самоха резко поднялся. – Ты следи за базаром! А то ведь можно и схлопотать...

И Полынцев поднялся, только не спеша, лениво. Распрямившись, он демонстративно подставил скулу, отороченную бородкой.

– Бей, – произнёс равнодушно. – Чего рот разинул? – Да пошёл ты!.. – Сердито сверкая глазами, Самоха тяпнул водки, хотел что-то сказать, но промолчал.

Дверь за ним с тихим скрипом закрылась, будто всхлипнула.

Глава 2

Звали его Фёдор Поликарлович; такое удивительное отчество в документы по ошибке вlepили – вместо Поликарповича. Какое-то время отец Поликарп пороги околачивал в разных «инстанциях», исправить хотел, но вскоре убедился в правоте нехитрого суждения: что написано пером, чёрта с два потом вырубишь топором. Так сынку и пришлось по жизни идти – Поликарловичем. «Ну, а что? – позднее подумал сынок. – Звонко звучит!» Отцу, может быть, и обидно, а ему оригинальное отчество даже понравилось, потому что сам большой оригинал.

После того, как сосед ушёл, Фёдор Поликарлович долго сидел в пустой нетопленной избе, напряжённо глядя в дальний угол, который прежде назывался «красный» и в нём когда-то находилась тёмная от времени, потрескавшаяся икона, возле которой по праздникам зацветал огонёчек лампадки. А потом, когда не стало матери, он взялся делать ремонт и куда-то заныкал святого Угодника – теперь не припомнит.

Бесцельно блуждая по комнате, Полынцев опять посмотрел в красный угол, испытывая жгучее желание перекреститься. Правая, горделиво вскинутая бровь его чёрной подковкой подчеркнула мутный глаз. «А где же она есть?» – подумал про икону.

Книжные полки, которые сварганил своими руками, были грубоваты, но зато крепки – держали кирпичную кладку отечественной классики и зарубежной.

Дрожащими руками он начал вынимать какие-то альбомы, папки с бумагами. Всё это в беспорядке растарабарилось на полу возле кровати и под столом. Забывая, что ищет икону, Фёдор Поликарлович глазами стал цепляться то за одну страничку, то за другую. Все они исписаны мелким убористым бисером, а кое-где виднелись почеркушки на полях – рисунки. Полынцев даже вздрогнул, когда наткнулся на старый косматый набросок, под которым написано: «*Вурдала Демонович*». Брезгливо морщась, он порвал космато-кошмарную морду – скомкал и отбросил в сторону печки. А затем под рукой оказался конверт, в котором нашлась фотография – сын и дочь, погодки, вступающие в пору цветущей юности.

Сердце громко бухнуло и словно потянулось к фотографии – потянулось так, что какая-то жилка в груди зазвенела от боли.

Он поднялся и жадно допил – прикончил всё, что булькало в поллитровке. И снова понуро, сутуло сидел за столом – будто с перебитым позвоночником. Набрякшими глазами, не мигая, смотрел и смотрел на фотографию...

– Как же так? – спросил он тишину и пустоту. – Неужто в самом деле?..

Голова, тяжелея, склонилась над фотографией – горячий лоб ударился в столешницу. Но через минуту-другую он резко поднялся – чемодан паковать.

Ветрюган за окошком перестал насадно завывать – крупные капли защёлкали по карнизу, точно воробьи туда слетелись на зерно. Полынцев яростно захлопнул крышку чемодана – прищемил какую-то страницу, исчирканную вдоль и поперёк. Постоял, потерянно глядя в окно. И вдруг зачем-то стал рукой стеклину протирать: словно бы слёзы пытался стереть – слёзы с той стороны... А затем горячий лоб его прижался к чёрной крестовине холодного окна. И ему – как этому осеннему дождю – заплакать захотелось, зарыдать и завывать, горе своё размочить. Да только он не мог – давно отвык. Зато к нему вернулась детская привычка ногти грызть. «Это самоедство, – промелькнуло в голове, – если не хуже...»

В нём просыпался тёмный, страшный зверь, готовый не только что ногти – горло перегрызть тому, кто повинен в кошмаре, случившемся в далёкой Северной столице.

Продолжая собираться, он точно провалился в подпол или в тартарары – темно стало в доме. Пробки перегорели. Полынцев постоял во мраке у окна, глядя в небо и рассматривая реку, засыпанную холодными звёздными искрами.

– Если долго всматриваться в бездну – бездна начинает всматриваться в тебя, – пробормотал он, двигаясь наощупь. – А где же запасные? Куда я их заныкал?

Перегоревшие пробки – пропади они пропадом! – Полынцев заменил на пробки от русской водки. Даже сам не заметил, как так получилось. Божий свет пропал почти на сутки – это было затмение в отдельно взятых человеческих глазах. Затмение организовать помог всё тот же Самоха, расторопный и услужливый, как официант, – ящик водки припёр и закуску. А потом подсунул документ на подпись – бумага на продажу дома. Фёдор Поликарлович, пока ещё был при мозгах, заартачился, тихоокеанскую селёдку порезал на той бумаженции. Но Самоха, зараза, как фокусник, хитровато посмеиваясь, опять достал из-за пазухи белоснежного голубя – второй экземпляр. Водочка, в конце концов, сделала своё сатанинское дело – Полынцев рассиропился и подписал.

«Или всё-таки нет? Не подписывал? – прочухавшись, гадал он, опухшими глазами обзревая горницу, похожую на поле после боя. – Продал я хату или нет? Кто я здесь? Хозяин? Или хрен собачий?»

Глава 3

Утро было мёрзлое – земля зачугунела. Вчерашние следы, впечатанные в грязь, казались такими крепкими – никакому солнцу ни весной, ни летом не отогреть. Сто лет пройдёт, казалось, всё кругом изменится и только вот эти следы – твои следы! – навсегда останутся, чёрной цепью протянувшись к родному дому откуда-то из гулких, пустых полей, некогда чистых, весёлых, полных разнотравья и разноцветья, засеянных золотом пшеницы, донника...

Возле ворот Полинцева остановился немецкий «Опель» светло-серой масти.

– Шеф! – позвал Самоха, выглядывая из окна. – Лошади поданы! Целый табун в сто пятьдесят жеребцов!

Однако «шеф» и ухом не повёл, внимательно рассматривая оттиски затвердевших следов.

– Каменный гость приходил, – пробормотал он, забираясь в машину. – Командор, не иначе...

– Кто? – Самоха сморщил переносицу. – Это когда? Уже после меня?

– Нет, после Пушкина. После великих маленьких трагедий. Сосед настороженно покоился на него и вскинул руку дорогими часами, брякнувшими на браслете.

– Не опоздать бы!..

От районного центра до города полста километров по трассе, а если немного срезать – по старой дороге, через лога сосново-берёзовые перелески – на трассу можно выбраться ещё скорее.

– Хочешь сократить, Сократ? – спросил Полинцев, когда увидел, что автомобиль сворачивает в сторону.

– И сократить, и посмотреть заодно. Я же тут весною сельским хозяйством буду заниматься, – напомнил Самоха неожиданно завопил: – Смотри! Смотри! Косой рванул!.. – А затем тихонько: – Эх, надо поохотиться. Отвезу тебя сейчас, ружьишко возьму и в пампасы...

Поехали туманными полями, покато уходящими к большой реке, затаившейся неподалёку. Полинцев глядел исподлобья, сопел. Эти поля, давно заброшенные, из края в край безбожно зачертополошенные, наводили на него уныние, тоску и великую грусть. И не очень-то верилось, что этот балабол Самоха сможет когда-нибудь окультурить, золотом зерна засеять и заколосить это сиротливое пространство, посреди которого там и тут торчали скелеты разрушенной фермы, разбитого разграбленного коровника.

Заледенелый ручеёк попался на пути. Можно было легко обогнуть, но самоуверенный Самоха шуранул напропалую, подумал, что холод усмирил ручеёк. А под коркою льда оказалась такая засада – задние колёса врюхались до половины. Свирепо газуя, Самоха выглядывал из окна – колёса длинно и грязно плевались.

– Толкай! – горланил Семён. – Сильнее толкай!

– А я что делаю? Пивко тут пью? – ворчал Полинцев, огненно-багровый от напряжения, словно только что из бани вышедший.

Проклятуший «Опель» намертво засел – ни вперёд, ни назад. А время шло... А самолёт не будет ждать...

– Фашисты долбанные! – Выйдя из машины, Самоха присел на корточки. – Зачем такая низкая посадка? По нашим дорогам не едешь, а по-пластунски ползёшь, брюхом кочки срезаешь...

Где-то в берёзовой роще раздался выстрел – раскатистое эхо гулко побежало по логам, испугавши птицу, что-то клюющую на пригорке неподалёку. Распахнув тёмно-серые крылья, орёл-могильник нехотя подскочил над землёй – отпрянул от своей поклёвки, однако же, не улетел.

– Пойду, позову мужиков. – Полынцев поглядел в сторону рощи. – Может, выдернем.

Земля, на полвершка прохваченная полночной стужей, позванивала под ногами. Изредка встречался полевой цветок – почерневший горицвет, синевато-серый колокольчик – вморозенные в чистую линзу ледышки.

Порою поскальзываясь, каблуками раскусывая хрустящие льдинки, Фёдор Поликарлович вошёл на пригорок.

Костёр, трепыхая косицами дыма, приплясывал неподалёку. Виднелись три фигуры – угловатые, чёрные на фоне берёз. Поодаль от костра торчали ружья, прислонённые к деревьям. Патронташ висел на ветке. Собака, сидящая около ружей, сделала попытку приподняться и зарычать, но тут же вновь прижала мохнатый зад – охотник что-то гортанно резко проговорил на языке инородцев. Полынцев подошёл поближе.

Три человека – темнокожих, горбоносых – обдирали зайца.

Особенно сильно поразил Полынцева один из охотников – высокий, плотный. Несмотря на зябкую погоду, он был в одной рубаше, распахнутой на груди, рукава закатаны по локоть. Странно короткие руки охотника – будто приставленные от низкорослой фигуры – волосатые, цепкие лапы ярко испачканы тёплой сукровицей, голубовато дымившейся прохладным воздухом. И подбородок охотника, и горбинка чёрного носа, и даже надбровье – это, наверно, когда поправлялась фуражка – всё было запятнано кровью.

«Вот таким должен быть Вурдала Демонович!» – промелькнуло в голове Полынцева, который всегда и во всём невольно отмечал что-нибудь такое, что потом могло бы пригодиться работе над словом, над книжным характером.

Полынцев объяснил охотникам, в чём дело, и они спокойно согласились. Прицепив ободранного зайца к высокой ветке – чтобы собака не соблазнилась – Вурдала Демонович вытер ладони о брюки на пухлом задку, и опять гортанно, резко прогрыгтыркал что-то на своём языке.

Охотники спустились к мелкому, но вязкому ручью – навалились крепкими плечами, зарычали, жутковато вращая куриными белками чёрных глаз. Прошло минуты три-четыре и немецкий «Опель» опять стоял на ровном, твёрдом месте – грязные капли дробинами падали с поддона.

– Хорошая тачка, – с гортанным акцентом похвалил Вурдала Демонович, похлопав «Опель» по горячему капоту. – Какого года?

– Старая! – Семён отмахнулся. – Но ничего ещё, жеребчики резвые, бегают.

– Умеют немцы делать, – похвалил Вурдала Демонович, поправляя закатанные рукава.

– Умеют! – угодливо подхватил Самоха. – А мы? Ё-моё...

Победители, называется!

Подобострастный голосок соседа не понравился Фёдору Поликарловичу.

– Побеждает не тот, кто умеет делать машины...

– А кто? – заинтересовался Вурдала Демонович, кривя усмешку.

Полынцев посмотрел ему в глаза, подчёркнутые буйными бровями.

– На войне побеждает тот, кто меньше себя жалеет. Русская пословица. Ну, всё, орлы, пока, спасибо за подмогу.

Неожиданная встреча с охотниками оставила в душе Полынцева неприятный осадок. Будучи уже в самолёте, он опять и опять почему-то вспоминал ободранного зайца и, глядя на белую пушистую шкуру облаков, с грустью думал: «А я, дурак, всё сказки сочиняю. И про зайцев даже сочинил. А как же иначе? Прозаик – тот, кто пишет про заек. Интересно было бы узнать: бывшая моя читала мои сказки ребятишкам? Или нет?»

Земля под крылом самолёта разгоризонтилась от края и до края – стало видно так далеко, что Полынцев даже как будто разглядел Архангельскую область, Русский Север, куда он укатил с молодой женой – короткое было, но славное свадебное путешествие.

Глава 4

Сначала в Ленинграде сын родился – наследник мечты и надежды; так, несколько возвышенно и выпендренно, Фёдор подумал тогда. Хорошая пора была – весенняя. Ветер всё шире и смелее раздёргивал тучи над городом. В облаках – из окна далеко видать – золотом горел высокий, непоколебимый шпиль, создававший иллюзию настоящего ангела, летящего над Питером и словно бы нацеленного именно сюда, в эту квартиру, где хозяева стогоношили скромное застолье по случаю рождения ребёнка. Жёлтые пятна солнечного света дрожали на стене, цыплятами бегали по полу и пропадали где-то под детской кроваткой, под столом и стульями – перистая облачность драными перинами пролетала на фоне солнца. Погодка день за днём всё шире улыбалась; апрель был на исходе, а майская пора в этом краю – от слова майка; ну, это шутка, а вот насчёт рубахи в мае в Ленинграде – вполне серьёзно. Хотя время от времени майские ночи там светлыми бывают не только от света – от снега, внезапно упавшего.

Застолье хрусталём тогда звенело, балагурило навеселе; мужики выходили подымить на площадку и Фёдор с ними тоже, хотя и не курил.

– Ну, вот! Поздравляю! – воскликнул Василий Капранович, добродушно обнимая зятя. – Теперь пойдут пелёнки, распашонки. Спокойная твоя житуха, Федя, кончилась.

Правая, горделиво вскинутая бровь его – ещё сильнее вскинулась.

– Всё только начинается, – загадочно ответил зять. – Я вместе с пелёнками и чемодан купил...

Восторженно горящие глаза у тестя медленно погасли.

– Чемодан? Я что-то не понял. Что это значит? – В Москву поеду.

Озадаченный тесть глубоко затынулся.

– В Москву? Зачем? А как же здесь?

– Нормально, – успокоил зять. – Мавр сделал своё дело, мавр может уходить, – грустно улыбаясь, произнёс он цитату из драмы Шиллера.

Тесть был простым рабочим, крайне далёким от Шиллера. – А причём тут мавра? Что происходит?

– Потом объясню, – пообещал Полынцев, отмахиваясь от дыма. – Я уезжаю на заработки.

– А-а! Ну, это другое дело. – Василий Капранович тяжёлой пролетарской рукой поцарапал затылок. – И что? Надолго?

– Пока не знаю.

– А здесь-то что? Никак?

– Здесь не получается. А там есть кой-какие зацепки.

– Ты мужик, хозяин, – согласился тесть, – тебе решать.

– Естественно! – с гонорком подхватил захмелевший Полынцев. – Я сам свою судьбу построю.

Красивые слова умел он говорить, только ещё не знал элементарного: какие бы красивые слова не говорили мы – поступки наши говорят куда красноречивей.

Ах, какой тогда был снегопад! Колдовство и светопредставление! «Снегопредставление» – такой неологизм придумал он, оказавшись на пороге прощания. Снег шарахнул как из пушки – огорошил, ослепил. Полынцев, неосмотрительно легко одетый, ругая себя дураком и простофилей, стоял, разинув рот, смотрел на снегопад, разноцветно и волшебным озадаченный простыми фонарями и трехголовыми уличными канделябрами, искусно откованными лет двести назад. Он совершенно забыл о сюрпризах здешней майской погоды и потому оказался в одной рубахе посреди заснеженного города. Снег выпал ближе к ночи, когда Фёдор – не то, чтобы тайком, но как-то суетливо, скомкано – собрался и поехал на вокзал. Снегопредставление изумило его и одновременно встревожило. Он смотрел на газоны, где уже проклюнулись цветы, смотрел

на озеленённые кусты, деревья. Он, как сейчас это помнится, тревожился о том, как бы не погибла, не померзла вся эта внешняя флора. И ничуть ему не горевалось, не печалилось о тех, кого бросает на произвол судьбы. А что горевать? И зачем рассиропливаться? Сам он вырос без отца потому, наверное, с весёлою, гусарской бесшабашностью оставлял семью – не первую, кстати сказать, но там-то хоть были одни только жёны, детишек не завёл, а тут...

Фёдор оглянулся – от подъезда за ним протянулись чёрные следы по снегопаду. Он пере-дёрнул плечами: не столько зябко было, сколько неприятно смотреть на эту цепь, которую он сам размашисто растягивал – до первой станции метро.

«Ничего! – бодрился беспечный ходок, уже располагаясь около прохладного вагонного окна. – Я вырос, не загнулся, парень тоже вырастет! Если разобраться, так ему без папки будет даже лучше. Самый страшный звук для мужика – голос плачущего младенца. Где-то прочитал, не помню где».

В ту пору глаз его ещё не заострился, чтобы заглянуть во глубину – в потёмки своей души. Может быть, не мог он, а может, не хотел – в силу возраста – копать, разбираться, что же ему надобно от жизни, какая бунтарская сила всё время движет им, руководит. Тогда ясно было только одно: он для семьи не пригоден – как тухлый фарш для котлеты. Грустно? Да, очень грустно. И, тем не менее – факт, от которого не отмахнёшься. Расплата за талант порой бывает наделена такой громадной грустью, что лучше б ты родился полной бездарью, сидел бы на завалинке, курил да лапти плёл, но тебе Господь Бог или кто-то другой сказки плести повелел. Так что некогда, какая тут семья? Извини – подвинься.

«Враньё всё это! – сам с собою спорил он, отъезжая всё дальше от Ленинграда. – Сколько русских классиков были семьянинами самой высшей марки? Взять хотя бы Льва Толстого. Или этого... Да много! Много, всех не сосчитать.

Талант? Вот ничего себе, нашел оправдание. А с другой стороны – разве это не так? Разве это не Лев Толстой в молодые годы жизнь прожигал напропалую, любил кутить, до нитки проигрывался в карты? Разве это не он завёл себе «Журнал для слабостей», в котором отчитывал себя за пустопорожнее времяпровождение? Так что всё правильно: расплата за талант...»

И всё-таки Полынцев в глубине души не мог сам себя убедить. Он ещё не понимал, но уже догадывался: дело не только в таланте. Печальный опыт стылой безотцовщины отозвался в нём каким-то странным, глухо затаённым чувством ожесточённости и даже мстительности по отношению к миру, его окружавшему. С возрастом это чувство угаснет, и на смену ему под горло подкатит другое чувство – щемящее чувство уходящего поезда, за которым он будет готов бежать босиком по морозу, потому что в том поезде от него навсегда уезжало нечто золотое, бесценное, что вовек не заменить ни вольною волей, ни разгулом вдохновенного творчества. Ничем ты не заменишь тот простой, великий смысл земного бытия, который человеку даёт семья, ребёнок. Но осознание этого простого и великого – за горами пока что, за долами, какие предстоит ещё пройти, ломая ноги на перевалах и задыхаясь от вольного ветра. Всё это будет после, а пока – он силён и молод, он беспечен и легко смеётся в мурло своим печалям и невзгодам.

Москва, куда приехал он, шумела и гудела, как шумит-гудит большое дерево, стоящее на семи ветрах. Золотыми листьями на ветках там и тут сверкали купола новых церквей и минаретов. Чёрными дырами-дуплами на этом древнем дереве обозначены входы в метро. Железобетонными гнездами, дерзновенно свитыми где-то под облаками, торчали новые высотные дома, где обретались птицы всех мастей – со всех волостей. Трудолюбивые дятлы при помощи отбойных молотков день и ночь долбили столичные дороги. Соловей – то курский, то сибирский, то дальневосточный – рассыпное серебро и золото сорил по театрам, по ресторанам и даже под открытым небом на площадях и улицах. Грачи постоянно встречались – носатые, гортанные жители кавказских гор. Попадались молодые милые кукушки, так ловко умеющие подкладывать в чужие гнёзда своих птенцов; причём кукушек этих – родителей, отказываю-

щихся от детей – с каждым годом становилось всё больше и больше, только их нельзя было заметить: современная кукушка – при помощи косметики и нарядных тряпок – сказочно преобразалась, на жар-птицу становилась похожа.

Глава 5

В Москве в первую голову он озадачился по поводу жилья.

Куда податься? Где тут перекантоваться? Была надежда на общежитие ВГИКа – института кинематографии, в котором Полынцев года полтора назад учился на сценариста, но бросил, когда началась заваруха, в результате которой Советский Союз обрушился в тартарары.

Даже издали было заметно, какие разительные перемены произошли с тем здоровенным зданием, где находилась общага. На первом этаже расположился офис какого-то «Спортмастера», на кирпичной стене которого мелом нацарапано: «Сила есть – ума не надо!» Второй этаж отдали под свадебный сервис – об этом говорили, а точнее, позванивали серебрецом колокольчиков длиннорылые свадебные лимузины, припаркованные внизу.

И в самом общежитии произошли перемены в духе времени – циничного и жёсткого. Так, например, Полынцев прочитал объявление, похожее на грозный кулак коменданта: «В общежитии ВГИКа запрещено заводить детей и домашних животных. Кто обзаведётся, тот вынужден будет немедленно съехать».

Воспользовавшись былыми связями, немного подзабытыми и порушенными, Полынцев – с большим трудом – всё-таки 299 исхлопотал скромную келью, завалил её черновиками сценариев и вдохновенно взялся кропать что-то великое, что-то бессмертное, что должно было сделать его победителем в искусстве и в жизни. «Надо пахать и пахать!» – каждодневно говорил он себе, вспоминая хорошие слова о том, что гений – это 2 % процента одарённости и 98 % пахоты. Только так и можно выйти в победители. А победителей не судят, как известно. Но при всём при этом самоотверженный пахарь не брал во внимание одно – весьма существенное – обстоятельство. Искусство и жизнь в те окающие дни до чрезвычайности переменились; так переменились, будто кто-то спяну или сдуру «плюс» поменял на «минус». И теперь повсюду на киностудиях, в редакциях, куда он упрямо совался, господа режиссёры и господа редакторы требовали только лишь один огромный «минус», заключающийся в том, чтобы страницы любых произведений громыхали площадною бранью, полыхали пожарами, клокотали кровью, гноем истекали.

Затурканный проблемами творчества – залитературканный, как сам он любил говорить, – Полынцев какое-то время ломился в открытые двери, свою правду-матку доказывал.

– Если вы долго всматриваетесь в бездну – бездна начинает всматриваться в вас! – говорил он, цитируя Ницше. – Как вы не поймёте, господа хорошие? Если зритель смотрит на всё это кошмарное искусство – он рано или поздно все эти кошмары найдёт в своей душе и в своём доме.

– Старичок! – Его панибратски похлопывали по плечу. – Ты едешь на телеге. Отстал от жизни.

Он стряхивал руку с плеча.

– Это гребля с пляской, а не жизнь!

– За что боролись...

– Лично я за это не боролся.

– О, да, конечно. Ты предпочитаешь быть над схваткой. Так ведь?

– Да не совсем.

– Ну, так в чём же дело, старичок? Давай, подключайся процессу. У тебя и слог приличный, и фантазия бурлит.

– К процессу развала страны подключаться?

– Во! Ты опять за своё?

– Я – за своё. А вы так – за чужое. – Ты на что намекаешь?

– Да ладно, замнём.

– А тебе не кажется, что мы многие вопросы слишком долго заминали, затирали, задвигали в дальний угол? И не потому ли опухоль назрела и прорвалась? Мы делали вид, будто в нашей стране всё нормально, организм здоровый, а опухоль росла, распространяла метастазы. А мы всё: «да ладно, замнём, может быть, как-нибудь рассосётся...»

Что правда, то правда. Крыть было нечем, только разве что матом, который, увы, становился всё более и более нормативной лексикой; книги в ту пору, как заборы в стране, отличались заборной руганью.

– Это жизнь! А как ты хочешь? – говорили ему по поводу забористого слога. – Если тебе на голову упадёт кирпич, ты ведь не скажешь: «Я помню чудное мгновенье...» Ты скорее вспомнишь нечто другое: «в бабушку и в бога душу мать!» Разве не так? Только честно.

Разговоры такие происходили и в редакциях журналов, и на киностудиях, и в Доме актёра, куда он частенько захаживал, где выпивал, шатаясь между столиками и всё ещё надеясь – хотя уже и слабо – найти единомышленника, человека, способного помочь ему стать победителем в искусстве и в жизни.

Глава 6

Единомышленник, в конце концов, нашёлся, хотя и не совсем такой, который нужен. Таким единомышленником оказался энергичный, бодрый человек из Заполярья – молодой, но умудрённый опытом жизни, книгами.

– Позвольте пригласить вас к нам за столик? – деликатно спросил северянин.

– Позволю! – Полынцев усмехнулся. – Так и быть...

Пришли за столик, сели у окна, за которым открывался городской пейзаж – первым снежком присыпанные тополя, граниты набережной.

– Что будете пить? – озаботился единомышленник.

– А всё, что горит.

Лицо северянина озарила золотая улыбка.

– Так, может быть, стаканчик керосину?

– С удовольствием! – Полынцев закинул ногу на ногу и поправил ворот застиранной рубахи. – А чем я, собственно, обязан?

– Видите ли... – Северянин замялся. – Фёдор... Как вас? Поликарпыч? Поликарлович? Интересное отчество. Я тут краем уха слышал вас, Фёдор Поликарлович, и мне, честно сказать, очень близка ваша позиция.

– О! Это уже интересно. – Полынцев прищурился, разглядывая собеседника. – А вы, простите, кто? Какая киностудия?

– Я из Норильска.

– Что-то не слышал про такую киностудию.

– Нет, я к искусству не имею отношения. – Северянин глазами окинул задымленное помещение Дома актёра. – Друг меня сюда привёл. Познакомить, так сказать, с бомондом.

– Ну, и как вам этот бомонд?

– Впечатляет, – сдержанно ответил северянин. – А где ваш друг?

– Да он... – Собеседник смущённо посмотрел в дальний угол. – Отдыхает где-то за кулисами.

– Ну, хорошо. Вернёмся к нашим бананам, – скаламбурил Полынцев, глядя на тарелку с фруктами. – Вам близка моя позиция. И – что?

– Есть предложение, Поликарлович. Вы как насчёт того, чтобы поработать на вечной мерзлоте? – В качестве мамонта?

Северянин опять озарился золотою улыбкой.

– В качестве редактора газеты.

– Интересный сюжет. – Полынцев почесал давно не стриженный загривок. – Но я ведь, извините, сценарист. Газетой никогда не занимался.

– Не боги горшки обжигают.

– Ну, да, тем более на вечной мерзлоте. – Так что вы скажете?

– Покумекать надо. А как насчёт зарплаты?

– Нормально, Поликарлович. Мы не обидим.

Северянин назвал ему сумму, и глаза Полынцева сделались круглыми, как большие нули, дополнявшие солидную сумму.

– Ну, это уже кое-что! – Он засмеялся, понимая, что наглеет. – За это и выпить не грех!

«Если года три-четыре поработать на северах, – соображал он, – можно квартиру для сына купить в Петербурге. А то ведь скоро вырастет, женится – глазом моргнуть не успеешь».

Прикончив бутылку трёхзвёздочного коньяка, они ещё немного посидели, поговорили, уточняя детали. Будущий редактор задорно покраснелся, плечи расправил.

– Значит, согласны? – уточнил северянин.

– В принципе – да! – Улыбаясь, Фёдор ладошкой прихлопнул по столу. – А когда нужно ехать?

– Лететь. – Собеседник поддёрнул рукав, посмотрел на золочёный циферблат. – Через два с половиной часа. Полынцев поперхнулся дармовым угощением. – Вы что? Кха-кха... Серьёзно?

– Вполне.

– Так ведь мне же это... Кха-кха... Надо собраться...

– Возьмём такси, заедем.

– А билет?

– А у нас там лётчики свои, проблем не будет.

Изумлённо покачав головой, будущий редактор встал из-за столика, промокнул салфеткой губы и засмеялся.

– От винта! – воскликнул он, отчаянно махнув рукой.

Ему, сценаристу, нравились вот такие – совершенно неожиданные – повороты в судьбах героев, с которыми всякий автор невольно находится в самом тесном родстве.

Самолёт на Крайний Север попал не скоро. В Норильске бушевала «чёрная» пурга, срывающая крыши, и потому огромный лайнер два раза возвращали на ближайшие аэродромы – сначала в Красноярске томились пять часов, затем примерно столько же парились в Толмачево под Новосибирском.

Так начиналась его новая страница – страница чистых северных снегов, над которыми частенько полыхали позари – сказочные краски северных сияний. Заколачивая деньги в Заполярье, он почувствовал себя крепко стоящим на ногах и сразу понял, что «имеет право голоса». Раньше он, как горьковский босяк, лишний раз стеснялся позвонить своей бывшей, а тут осмелел – деньги делали дело. И только тогда Полынцев узнал, что у него – вслед за сыном в Ленинграде – дочка появилась. Родилась как будто невзначай. Он только сына планировал, наследником мечтал обзавестись, но мужицкой силы в нём оказалось невоворот – перестарался.

«Сдурела баба! – изумился Фёдор. – Теперь и одного-то не прокормишь, а она второго родила. Это хорошо, что я в Заполярье, где длинный рубль, но отсюда нужно тикать, а то загнуться можно и остаться вечно молодым – под крестом на вечной мерзлоте».

Глава 7

Звезда-Полынь – фамильная звезда Полинцева, так он думал и так говорил с гонорком; вот, мол, какая звезда у меня, позавидуйте. А позднее он стал отрешиваться от именной звезды, когда прогремела авария на Чернобыльской атомной станции, когда всё громче стали поговаривать, что полынь это чернобыль, и, значит, сбывается пророчество святого писания, в котором сказано, что упадёт с небес звезда-полынь, и третья часть земной воды делается полынной.

Полярная звезда его уже не грела, не прельщала.

С какой великой радостью он махнул на Север – с такой же радостью, но куда большей – перемахнул потом на Юг.

У Полинцева хорошие деньжата сколотились к той поре.

Дом купил в Славянске-на-Кубани. Добротный домина стоял в живописном местечке, на берегу реки Протоки, откуда хорошо просматривалась дельта Кубань-реки.

– Дворец без хозяйки – пустыня! – любил повторять он, женившись на юной красавице, которую звали эффектным и романтическим именем Изабелла.

– Меня, – говорила красавица, – так назвали в честь одного из сортов винограда.

– Правда? – шутливо уточнял Полинцев. – В честь винограда? Или в честь лошади?

Красавица надувала розовые губки.

– В честь какой такой лошади?

– А ты не знала? Есть такая изабелловая масть. Кремовая. – Феня! – так она Федю звала. – Фу, как это пошло, как это прозаично! – фыркала красавица, раздувая карманчики крупных ноздрей. – Это даже хамство, я тебе скажу!

– В древности Кубань принадлежала Крымскому ханству, – напомнил Фёдор. – Ну, а теперь, сама видишь, какое тут крымское хамство. Всё захватили, всё позастроили. Куда ни посмотришь, картина Саврасова: «Грачи прилетели».

– А причём тут грачи? – удивилась красавица, глядя на гнёзда на тополёвых вершинах, вздымавшихся над берегом Протоки.

– Потом как-нибудь расскажу, а пока... – Он стоял на пороге в свой кабинет. – Мне повестушку закончить пора.

Жена хихикнула в недоумении:

– Так ты ж её не начинал. Ты сам сказал. Как ты будешь заканчивать?

– Не знаю. Это уж как Бог распорядится.

Не писалось ему, хоть ты тресни. Был приличный кабинет, бумага на столе, на подоконниках белела сугробами, самописки рвались в бой, попискивая перьями. И только не было того небесного огня, который зажигает сердце, душу.

Этот странный диагноз под названием «не пишется» – наверно, самый страшный из всех диагнозов, какие только могут обнаружиться у литератора. И что тут делать, когда не пишется? Никакие доктора тебе не скажут...

Забросив бумагу и ручку, он подыскал себе такую непыльную работу, чтобы и не напрягаться, и в то же время быть при деле, чувствовать себя востребованным. Для мужика это особенно важно: ощущать свою востребованность, воображать своё плечо – плечом атланта, на котором держится небо. Кажется, вот так бы жить ему и жить, привольно жировать, не зная проблем, но характер – это ведь судьба, не сегодня сказано. Не мог он долго усидеть за печкой, слушая рапсодию сверчка.

Микроб стяжательства и накопительства, незримо витающий в воздухе Новой России, год за годом отравлял народы и пространства. И только редкий человек обладал врождённым иммунитетом и не поддавался золотому этому проклятому микробу. Полинцев обладал таким

иммунитетом, только, наверное, всё же не достаточно сильным – золотой микроб засел где-то в подсознании и начал там делать недоброе дело. Люди кругом богатели, и Полынцеву тоже хотелось быть, по крайней мере, не безбедным.

В груди мечта горела – не давала спать. И однажды ночью он поднялся, взволнованный чем-то, просторную комнату стал босыми лапами топтать.

Изабелла проснулась – глаза в полумраке мерцали.

– Феня! – Она зевнула. – Ты чего?

Полынцев рюмку водки хлопнул, присел на край постели, помолчал, дожидаясь, когда сердце охватит огнём.

– Дело предложили мне...

Красавица-кобылка опять зевнула, поправляя под горлом золотую сбрую с крестиком.

– Какое дело?

– Весьма авантюрное, честно сказать. – Ну, и выбрось эту дурь из головы!

Разволновавшись, он снова покружился по комнате. И снова проглотил рюмаку водки. Поцарапал правую, горделиво вздёрнутую бровь.

– Авантюрное дельце, однако, но приличную прибыль сулит! Понимаешь? С деньгами, какие теперь у меня, можно так обернуться, что на каждую тысячу – за короткое время – наварится штук пять, если не больше...

Заспанная женщина посмотрела в сторону кухни. – А что там варится? Я ничего не ставила.

Он засмеялся. Под одеяло забрался.

– Ладно, лапушка, – прошептал, закрывая глаза. – Утро вечера, как говорится...

Но теперь уже она не могла уснуть.

– А кто предложил-то? Феня!

– Да это не важно. – Он отмахнулся. – Важно то, что можно отлично заработать. Я же тебе говорил: мечтаю ребятишкам в Питере купить квартиру. А это, знаешь, сколько нынче стоит? Чёртову тучу долларов!

Жена поглядела на звёздочку, недостижимо горящую за окном.

– Ну, так, может, попробовать?

– А я тебе о чём толкую битый час? – Полынцев обнял красотку. – Купим белую яхту. Домик на море.

– Это бы неплохо.

– Что значит «неплохо»? Это вообще...

Они ещё немного пошептались, посмеялись под одеялом, потом потешились, как только могут тешиться влюблённые семнадцать, двадцать лет. От счастья воспарив под небеса, Полынцев позабыл о горестной земле и принял решение пойти «ва-банк». Но дело-то было рискованное – всё равно, что по лезвию бритвы пройти.

И пошёл он по этому лезвию. И – обрезался. Да так обрезался – чуть кровью не умылся. В результате дом пришлось продать, чтобы с долгами рассчитаться, а молодая жена сама «продалась» – ей стал не нужен горьковский босьяк. Недолго думая – или наоборот, всё было обмозговано заранее? – Изабелла быстренько с ним развелась и моментально выскочила замуж, и не за кого-нибудь, а за того жлоба, который в наглую обчистил Фёдора.

С горя надрвавшись, он вздумал устроить разборки, но это обернулось голым крахом – в буквальном смысле. Крепкие ребята, подручные богатого жлоба, в предвечерней полумгле вывезли Полынцева в ближайший лесок на берегу живописной Протоки, отлакировали физиономию, раздели до трусов и привязали к дереву, чтобы он прочухался и подраскинул мозгами: в следующий раз живьём зароят в этом лесочке.

«Ужасный век, ужасные сердца! – на другое утро горевал Полынцев, трамбуя чемодан. – И что я на этой Кубани забыл?

Тут даже снега нет на Новый год!»

По старым следам он хотел снова на Север махнуть, но следы замело, завалило сугробами – нужные люди разъехались. И тогда он вернулся на родину.

Глава 8

Старая мать жила в районном центре – село на правом берегу Оби, на крутолобом яру. Местечко душевное, тихое. Из окошка можно глазами зачерпнуть такую великую даль – аж сердце от восторга спотыкается. А вечерами, если небо разоблачилось – чёртова уйма созвездий роится в воде. На рыбалку выплывешь на лодке и забудешь, зачем ты здесь оказался – огромный серебряный невод поймает тебя и закружит, звёздным светом завьюжит.

Устроившись в районную редакцию, принципиальный Фёдор Поликарлович продержался там недолго. Сначала «зарубили» одну его статью – щепки полетели. Потом – вторую, третью. И только после этого он уразумел, каким «чистописанием» тут нужно заниматься. А это, извините, совсем не для него. Полынцева даже на Севере купить не смогли, а здесь и подавно. Никогда он не был и не будет официантом от журналистики, лизоблюдом от беллетристики. Противно ему что-то строчить в угоду новым хозяевам жизни, которые подмяли под себя если не все, то многие средства массовой информации, делая из них средства массовой дезинформации.

Камнем преткновения и причиной для увольнения стала – как это ни странно – хорошо отремонтированная дорога на одной из улиц районного центра. Надо было бы одного проворного местного начальника похвалить за такую дорогу, Полынцев накатал «гнусный пасквиль».

Содержание «пасквиля», вкратце, таково.

Одна пробивная бабёнка – хитромудрая, вёрткая – лет, наверное, десять работала редактором районной газеты, довольно скромненькой по содержанию и очень бедненькой по оформлению. И вот приспело время той бабёнке свою дочку замуж выдавать. Шикарная свадьба наметилась. Заказали белый лимузин – из города должен был приехать шестиметровый хряк, обвешанный бубенцами и ленточками. А потом – то ли дочка, то ли мать, а то ли перемать – кто-то спохватился. Заказать-то заказали белую карету, да только вот беда: дорога, по которой лимузин поедет в сторону ЗАГСа, давно уже ни к чёрту – лимузин пузо себе поцарапает, морду со стеклянными глазищами разобьёт. И тогда проворная баба-редакторша позвонила знакомому директору дорожной конторы. Так, мол, и так, господин-товарищ дорогой, послезавтра свадьба, а дорога – как прифронтная полоса. Директор удивился необычному звонку и заворчал: что ж ты, дескать, милая, так поздно спохватилась? И разговор у них на этом закруглился. А послезавтра, когда сияющий лимузин покатился по дороге к ЗАГСу – нельзя было дороженьку узнать. Отремонтировали. Да как отремонтировали! Хоть куриное яйцо катать – не разобьётся. Хоть в бильярд на ней играй – такая гладкая. И долго потом благодарный народ письма строчил в ту газету, где редактором – не на страх, а на совесть – работает пробивная бабёнка. Народ хвалил, превозносил директора дорожной конторы. Да и как не похвалить? Дорога та сто лет в пыли, в грязи валялась.

И наконец-то – слава тебе, господи! – нашёлся хозяин. Или хозяйка нашлась? Тут даже не знаешь, с какого боку лучше подойти и кому спервоначала в ноги поклониться. Заботливые люди живут у нас в районе. Да и по всей России полно теперь таких заботливых людей. Ведь им же надо памятники ставить.

Только непременно – вниз башкой.

Может быть, редакторша и не прочитала бы этот «пасквиль», опубликованный в столичном журнале, – гром-баба эта кроме своей газеты почти ничего не читала. Только нашёлся доброхот и сообщил: госпожу редакторшу ославили на весь белый свет.

Мужиковатая, нахрапистая, она пригрозила на планёрке:

– Вы за это ответите!

– За что? – удивился Полынцев. – Там же нет ни фамилии вашей, ни имени.

– А я говорю, вы ответите! Пасквилист! – Редакторша закурила. – Я на вас на суд подам – за оскорбление человеческого достоинства!

– А где ваше достоинство, простите? Под юбкою прячется? Нет? Тогда почему же вы занимаетесь газетной проституцией?

Наливаясь краской, как варёная, распаренная свекла, редакторша рывкнула, растрясая пепел папиросы:

– Вон отсюда! Вон! Или я вызываю милицию! – Пожалуйста. – Полынцев был странно спокоен. – Я им расскажу такое, что они годовой свой план по борьбе с преступностью смогут выполнить за неделю. Не верите? – Ну, так можно проверить. Звоните, мадам. Или у вас там тоже всё крепко схвачено?

Опуская глаза, дородная редакторша раскурила погасшую папиросу.

– Да-а! – с грустью подытожила она, закутавшись в дым, будто в серую шаль. – Тут, пожалуй, надо вызывать не милицию – «скорую помощь».

Остановившись на пороге кабинета, Полынцев с горечью сказал:

– «Скорая помощь» вам вряд ли поможет. Бессовестность не лечится уколами или таблетками.

Уволившись из газеты, он полгода проработал в краевом издательстве и опять-таки ушёл, громко хлопнув дверью: книги современного издательства – хоть этого, хоть другого – в ту пору отличались откровенным цинизмом.

– Я такую хренотень километрами строчить могу, – на прощание заверил он директора.

– Так в чём же дело? Мы бы вас печатали – целыми тоннами! – Предприимчивый директор ухмыльнулся в бородёнку. – Может, попробуете?

– Дурное-то дело не хитрое, – ответил Полынцев и добавил нечто туманное: – Раньше гордились ненапечатанными книгами, а теперь надо гордиться ненаписанными.

– Это как понять? – спросил директор.

– Подрастёшь, сынок, поймёшь.

И Полынцев покинул издательство, вполне серьёзно возгордившись своим ненаписанным собранием сочинений, которое он бы, действительно, сгоношил довольно-таки быстро и легко, когда бы только совесть не мешала.

Глава 9

Черёмушник из года в год буйно разрастался на краю села.

Дикий хмель завивался вензелями да кольцами. Яблони стояли белых бантиках по весне. Соловьи разбойничали лунными ночами. И вдруг всё это одномахом срезали – тупорылым, но могучим, огненно сверкающим бульдозерным ножом. Привычную картину перед окнами уничтожили с таким вероломством – Фёдор Поликарлович от инфаркта едва не загнулся, когда увидел; так сердце прихватило, так разозлился он на этих сволочей, которые теперь бульдозерным ножом или финским что угодно и кого угодно могут порешить.

Бульдозерной атакой, как позднее выяснилось, командовал Самохин Семён Семионович, в узких кругах известный как Семизонович – за его спиной шесть различных зон, и седьмая вот-вот перед ним ворота распахнёт.

Самоха, припыливший из города, купил развалюху по соседству с Полынцевым. Потом расчистил место для строительства и за короткий срок забабахал себе добротную дачу, пригодную для зимнего житья. Самоха был невероятно энергичным, предприимчивым, умудрялся деньги делать «из ничего». Будучи на высоте, на финансовом Эвересте, как сам он выражался, предприниматель этот курил дорогие сигары, попивал коньяки, одевался, как барин, и любил водрузить на свой указательный палец золотое кольцо с бриллиантом четыре «квадрата» – так он почему-то называл караты.

А затем приходила пора, и Самохин опять нещадно дымил дешевеньким куревом, пить не гнушался даже самогон, а волосатые пальцы его отдыхали от роскоши в четыре квадрата – все драгоценности утаскивал в ломбард. Но полоса неудач продолжалась недолго. Самоха снова умудрялся как-то изловчиться, извернуться и разбогатеть, не гнушаясь при этом никакими способами и средствами; поговаривали даже, что он наркотою торгует, хотя Самоха клялся во хмелю, что всё это вранье и происки конкурентов. Человек азартный, он горячо и отважно запрягался в какое-то новое дело, которое, в общем, у него неплохо получалось. Но деловая жилка в нём скоро остывала, и Семён Семизонович снова грустил возле разбитого корыта, перебивался с хлеба на квас, и при этом вынашивал новые какие-то наполеоновские планы и прожекты. Когда шуршали деньги по карманам – сосед не скупился, безоглядно занимал Полынцеву, отлично зная, что долг ему вернут только тогда, когда «раки раком встанут на горе», так Самоха говорил. Отравленный микробом стяжательства, он однажды пришёл к Полынцеву с оригинальным предложением. Пришёл, как всегда, со стеклянной «блондинкой».

– Фредерик! Ты как насчет того, чтобы продать избу? – Какую? Чью избу?

– Твою. Вот эту.

– Интересный сюжет. – Полынцев крикнул от удивления. – А зачем продавать? Где мне жить?

– У меня, Фредерик. У меня. Выбирай хоть первый, хоть второй этаж. – Самоха загорелся новой какою-то идеей. – Я даже покупателя нашёл. У него этих денег – как грязи.

Продадим и так с тобой раскрутимся – чертям станет тошно!

Фёдор Поликарлович, памятуя свой печальный опыт в городе Славянске-на-Кубани, покачал головой.

– Я уже раскручивался так, что было тошно...

Заячья губа Самохина самодовольно растянулась под коротким, но широким носом.

– Это потому, что без меня. А со мною дело, Фредерик, выгорит на сто пудов. Серьёзно. Ты здесь потом построишь особняк – лучше моего.

– Нет. Я под этим не подпишусь.

– Не грамотный, что ли? – хмыкнул сосед. – Ну, крестик хотя бы поставь.

– Крестик на своей судьбе? Нет, извини. Жареный петух меня уже клевал кое-куда.

После этого разговора Самоха подоби́делся – долгое время не заходил. Отношения у них поздней наладились, но деньги Фёдор Поликарлович перестал занимать, осознавая опасность: в один прекрасный день Самоха потребует долги и тогда – хочешь, не хочешь – избу придётся продавать, а это равносильно самоубийству. Тоскливо становилось, хоть волком вой. Правая, горделиво вскинутая бровь Полинцева – год за годом линяла, теряя упругость – чёрной подковкой напознала на мутный глаз, в котором всё реже и реже вспыхивали искры оптимизма.

«Ну и что мне делать? – горевал он. – Сторожем пойти? Тут предлагали. Но опять же – противно. Буду сторожить добро, которое эти прощелыги наворовали. Нет, ну вас на фиг!» Он хорохорился, но выбирать уже не приходилось – пошёл, как под конвоем, и устроился в какую-то замурзанную кочегарку, дающую тепло сельской больнице и школе. Кривая кочегарка стояла в соснах на берегу; от страшного дыма и копоти ближайшие деревья задыхались, начиная жухнуть, а кое-какие из них облысели – рыжие хвойные волосы горстями осыпались под ветром и дождём.

Работёнка была пыльная и в то же время – очень огневая.

Особенно сильно это ощущалось зимой. За дверью стужа сосны рвала до сердцевины, или вьюга бесилась, будто чёрной сажой посыпала ночную землю и небеса. А он сидел в тепле, «давал стране угля», потом читал при свете чахоточной лампочки, которая так быстро покрывалась шерстинками копоти – протирать надоест. Раскрывая железную пасть огнедышащей топки, Фёдор Поликарлович, забывая про лопату, – неотступно смотрел на гудящее пламя и думал, думал о чём-то.

Кочегарка Полинцева не утомляла. Он приходил домой, пыль стряхивал с ушей, играючи споласкивался в бане, переодевался в чистое бельё и продолжал пахать, но уже за письменным столом. Продолжал ваять что-то великое, что-то бессмертное, что помогло бы ему разбогатеть и прославиться, и оправдать себя перед Всевышним.

Петербурге за всё это время – за шестнадцать лет – он побывал всего лишь раза три, четыре. Не на что было слетать даже поездом съездить.

Тоска по Ленинграду, переименованному в Петербург, заставила его читать и перечитывать романы Достоевского и всё то, что было так или иначе связано с жизнью и творчеством русского гения. И Полинцев потихоньку стал набрасывать что-то вроде очерка или сценария для будущего фильма о Достоевском.

Глава 10

«История дышит в затылок, – писал он, – нужно только замереть и оглянуться, чтобы воочию увидеть прошлое.

Именно так я и сделал вчера, отряхнувшись от пыли, отрешившись от суеты. Я вышел в город и замер. Я оглянулся – и вздрогнул, находясь в Барнауле на вечернем, пустынном проспекте, не похожем на Невский проспект, но, тем не менее, затаившем в себе великую тень Достоевского. Да, это был, конечно, он. Спутать невозможно. Из вечерней таинственной мглы, будто звёзды, мерцали глаза Достоевского – глаза потрясающей силы, обращённые в бездну человеческой, неистовой натуры и одновременно в бездну нежного неба, откуда он пришёл на эту Землю.

Бесшумная тень Достоевского прошла по Барнаулу и растворилась в том богатом, старинном доме, где горели свечи, перекликались тонкие бокалы, и звучала бравурная музыка – там кипело веселье провинциального бала в честь именин жены полковника Гернгросса, начальника Алтайских заводов. (Образ этой дамы у Достоевского аукнется позднее в большом, драматическом рассказе «Вечный муж»). А потом, через какое-то время, когда над Барнаулом расплылась чистая, высокая луна, тень Достоевского вновь объявилась в этих местах. Только теперь он уже находился в барнаульском доме географа и путешественника Семёнова-Тян-Шанского. И вот как раз там-то с Достоевским приключился кошмарный припадок.

Приехавший на помощь доктор выдал жёсткий приговор:

– Настоящая эпилепсия.

Достоевский был подавлен не только диагнозом, но и тем, что вся эта история развернулась на глазах молодой жены Марии Дмитриевны – ни раньше, ни позже, а в период «медового месяца».

– Доктор, – вздыхая, прошептал Достоевский, – могу выпросить подробную откровенность?

Врач, выслушав, ответил:

– В один из этих припадков должно ожидать, что вы задохнётесь от горловой спазмы и умрёте не иначе как от этого.

В дверном проёме снова замаячило бледное лицо до смерти перепуганной жены, в голове которой Бог знает что пронеслось по поводу больного новоиспечённого супруга, с которым на днях она повенчалась в Кузнецке...

Затем луна свалилась в облака и всё, что мне пригрезилось, пропало: барнаульский дом Семёнова-Тян-Шанского будто воспарил под небеса, и там уже светились не простые окна – бессмертные звёзды привет посылали из прошлого.

И снова я замер. И снова великая тень Достоевского появилась на тихой, печальным сумраком окутанной Земле – только уже вдалеке от бескрайних просторов Алтая.

При свете слезящейся, одинокой свечи Достоевский писал письмо Михаилу, старшему брату: «Если мне нельзя будет выехать из Сибири, я намерен поселиться в Барнауле...»

Как странно, как больно и сладко сердце моё припекают эти слова Достоевского, этот образ его, русский призрачный дух – отчасти придуманный, отчасти вполне реальный. На денёк, на другой Достоевский в середине XIX века заехал, промелькнул по сумеркам заснеженного Барнаула – и прописался тут на веки вечные»...

Глава 11

Тень Достоевского стала ему «помогать». Так, например, когда он в тихих деревенских соснах, в доме покойной матери остался в темноте – провода обрезали за неуплату – он не только не опечалился, даже возрадовался. Теперь он поневоле будет работать только при свечах, как Достоевский, Пушкин...

Великие всегда пером строчили – мысль уходила в перо, как молния в громоотвод. А сегодня, когда писанину строчат на компьютерах? Куда сегодня уходит мысль? Во всемирную паутину? Так это уже муха, а не мысль...

Вот так он в последнее время жил, не тужил: через день да каждый день «давал стране угля» в замурзанной, дышащей смрадом кочегарке, а затем строгал своё, нетленное, способное прославить и обогатить. Время шло, он всё больше печатался, но гонораров хватало только на хлеб да на водку, и никак не хватало на то, чтобы слетать или съездить в Санкт-Петербург. Хотя, наверно, дело было теперь не в деньгах. Просто всё давно перегорело в сердце, перекипело в душе. «Да и было ли всё это вообще?» – начинал он сомневаться полночною порой, хмуро глядя за окно своей полупустой, холостяцкой хибарки.

Другая страна за окном процветала и одновременно прозябала в нищете. Другие ценности, порядки другие и нравы. И сколько бы он ни присматривался к этим современным господам, преуспевающим дельцам и прощелыгам, среди которых, безусловно, встречались люди вполне приличные, как бы ни пытался он встраивать себя в эту новую русскую жизнь – бесполезно. Кажется, он навсегда остался в жизни прежней, старорусской.

Я человек не новый, что скрывать,
Остался в прошлом я одной ногою.
Спеша догнать стальную рать –
Скольжу и падаю другою...

Вспоминая стихи Есенина, он опять душой переносился в любимый город на Неве, где стояла гостиница «Англетер» – последнее пристанище великого русского лирика. И опять он мысленно бродил по роскошным улицам, проспектам, набережным. И опять над его головой – необъятным сказочным цветком – зацветало волшебство белой северной ночи, от которой светлела душа и на губах затепливалась нежная улыбка. Но это «волшебство», к сожалению, происходило под воздействием алкоголя, к которому он пристрастился как-то незаметно, как, впрочем, бывает всегда.

На Севере хотелось лишнюю рюмаху поцеловать «с морозу», на Юге выпивал «с устатку», а потом и причину придумывать не собирался, потому что два сошлись в одном: душа замёрзла, душа устала. Отогревая душу, он вновь и вновь уносился в прошлое, которое будто написано было простым карандашом – с каждым годом неумолимо стиралось; сначала пропадали отдельные буквы, затем исчезали слова, предложения целые абзацы прошлой жизни.

И, в конце концов, в нём укрепилось чувство, что этого славного прошлого не было, а если что-то было – поросло быльём. И даже тот кошмар, когда вдруг позвонила бывшая жена – даже это он воспринимал как нечто нереальное. Только в первые минуты его встряхнуло с такою силой, точно он сидел на бочке с порохом и чиркнул спичкой. Тогда он крепко выпил и на самом деле чиркнул – закурил после многолетнего воздержания. Закурил и задумался: «А могло ли быть как-то иначе? Что ни говори, а всякая случайность – это синоним закономерности. Отец ты был отличный – в том горьком смысле, что сильно отличался от других отцов. А если говорить серьёзно, то никаким отцом ты вовсе не был – деньгами откупался, алименты

платил в добровольно-принудительном порядке. И поэтому всё, что случилось, – вполне закономерная печаль...»

Глава 12

В Петербурге в ту далёкую осень погибла дочь. Родилась Ленинграде, а погибла уже в Петербурге – такая вот гримаса жизни, одичавшей за последние годы. «В Ленинграде, – размышлял он, – никогда бы ЭТО не случилось. А теперь свобода – гуляй, ребята. Вместо соски – давай папироски.

А потом тебе подсунут гашиш, марихуану – под видом безобидных благовоний. И ты без ума, без памяти прыгнешь из окошка небоскрёба...»

Страшную новость Полынцев услышал с большим опозданием – бывшая супруга почему-то позвонила только через месяц. Оглушенный известием, он какое-то время пролежал под наркозом водки, затем привёл себя в порядок, деревенский дом свой заложил предприимчивому соседу и полетел тот город на Неве, который когда-то всей душой полюбил. И хотя летел он с тёмным настроением – на могилу дочери летел, но, тем не менее, светлые воспоминания то и дело вспыхивали в голове; уж так устроен человек, не может он всё время пребывать в унынии, тем более, что это – тяжкий грех.

Светлые воспоминания связаны были с юностью, с молодостью, когда он впервые нагрязнел в легендарный Ленинград. Худой, прыщавый парень из провинции, эмоциональный впечатлительный, он был ошарашен, потрясён красотой Северной столицы, её архитектурой и тем, что называется архитектурой – сочетание частей в одном стройном целом; этого премудрого словечка тогда он, разумеется, не знал. Вечерами, летними ночами бродя по Ленинграду, он был очарован и архитектурой, и тем, что её дополняло, – красота северных белых ночей; там он впервые ощутил их величие несказанную прелесть. И всё это вместе потом – через годы и расстояния – стало образом первой любви. И всё это станет потом неразрывно: любимая женщина; город любимый; любимая белая ночь; любимый Блок; любимый Достоевский; Медный всадник и многое другое. И всё это – светом своим золотым – согревало на северах, не давало осатанеть, огрубеть в круговороте новой русской жизни, вихрем его подхватившей, сорвавшей с насиженного места – в поисках проклятого длинного рубля, такого длинного, что из него можно верёвочку свить и удавиться от тоски и холода. В Россию тогда, после развала Советской страны, нагрязнуло такое лихолетье – никто не знал, куда бежать, за что хвататься. И он ухватился в ту пору за предложение поехать на Север, возглавить скромненькую, тихую газету, которая через два-три месяца бомбой загремела на вечной мерзлоте: мастер слова, профессионал, он обладал безоглядным характером, буйными и дерзкими страстями.

Он был, конечно, не мавр, но что-то от страстного мавра в нём всё-таки имелось, и та пресловутая фраза из Шиллера – мавр сделал своё дело, мавр может уходить – однажды в разговоре с тестем прозвучала далеко не случайно. У них с женой была договорённость: обоим хотелось ребёнка; естественно, хотелось и другого – семейного уюта, благополучия. Стерпится – слюбится, думалось. Но нет, не стерпелось, нет, не слюбилось. Мавр сделал своё дело и ушел. А дело-то сделано было – почти без любви. И теперь эта мысль, будто пуля, застряла у виска, жгла и лихорадила, отяжеляя голову. Может быть, в этом таилась разгадка трагической гибели дочери – в том, что без любви ничего хорошего не выйдет. Вот если бы женился он на той, которую любил до боли в сердце, да только что теперь об этом говорить! Черноглазая та, черно-косая, которая сделалась образом первой любви, была учительницей математики. А если точнее – тогда она училась на математичку. В голове у неё от рождения был арифмометр, как шутил-юморил юный Федя. Вот почему она довольно-таки быстро вычислила: с такими людьми, как Полынцев, нормального семейного гнёздышка никогда не совьёшь. Такие люди, как Полынцев... Ах, Полынцев! Да где же он есть?

* * *

Он очнулся от того, что фамилия эта – Полынцев! Полынцев! – гремела под стеклянным сводом-колпаком аэровокзала, до полусмерти напугав пару синичек, прилетевших погреться под крышей. Спohватившись, Фёдор Поликарлович покрутил головой. Очередь на регистрацию рейса уже просочилась в накопитель. И остался только он, Полынцев, которого звали по громкой связи. Заполошно подхватив свои нехитрые пожитки, Полынцев поспешил на «регистрацию брака с аэрофлотом», так он любил зубоскалить в молодости, когда летал по всему пространству бывшего Советского Союза. А теперь-то, увы, зубоскалинку эту пришлось забыть – «брак» с аэрофлотом он расторг по причине хронического безденежья. Ему и теперь бы пришлось по шпалам бежать в Петербург, если бы он не решился на отчаянный шаг – дом продать.

Глава 13

Самолёт находился уже на большой высоте – в тёмно-синих слоях стратосферы. Пассажиры, повеселев, отстегнули ремни безопасности. По узкому проходу пошла стюардесса, покатила впереди себя никелированный столик, заставленный стеклянным частоколом: минеральная вода, вино, коньяк и водочка.

Башка Полынцева трещала, угрожая развалиться на куски – хоть железный обруч надевай. Хотелось похмелиться – кровь из носу. И всё-таки он не позволил себе этой роскоши. Он слишком хорошо знал свой характер – заводной, огнеопасный. Если он сейчас себе позволит – до Питера он вряд ли долетит, угонит самолёт куда-нибудь в Лапландию. Так он себе говорил, угрюмо отворачиваясь от «скорой помощи» и пристально вглядываясь в ледяную прорубь иллюминатора. Эта прорубь то и дело покрывалась радужною дымкой перегара – Полынцев протирали дрожащей рукой, но через минуту-другую стекло опять задымливало. И ему хотелось подымить. Нестерпимо хотелось. Он папиросы доставал украдкой, нюхал и тоскливо перебарывал себя, терпел, но терпезу хватало ненадолго.

Сидящий рядом в кресле упитанный усатый пассажир, похожий на тюленя, постоянно мешал Полынцеву.

– Разрешите, – угрюмо попросил он, покусывая ноготь, – я выйду.

Добродушный тюлень пошутил через губу: – Высоковато, чтобы выходить.

Побледневшее лицо Фёдора Поликарловича внезапно перекошилось, и он произнёс нечто странное:

– Тринадцатый этаж – не кот наплакал...

– Как вы сказали? – Толстяк в недоумении похлопал глазами навывкате. – Тринадцатый этаж?

– Я сказал, мне надо выйти! – Полынцев надавил на басы. Скривившись в недоумении, «тюлень» заворочался в кресле.

– Пожалуйста, – проворчал он, шумно сопя ноздрями, как насосами – крылышки усов затрепетали так, словно вот-вот улетят с тёмно-красной, плотоядно припухшей верхней губы.

Однажды закурив, Полынцев дымил теперь со страшной силой, и во время полёта испытывал дискомфорт: приходилось в туалете прятаться.

И всякий раз, когда он начинал курить – мысли опять опять крутились вокруг несчастья с дочерью. Ну, ладно бы с сыном случилось такое – тьфу, тьфу! – мальчишке свойственно тянуться к табаку, изображать из себя взрослого мужчину. Но ведь она-то – девчонка, птаха. Как же это так надо было воспитать, чтобы девчонке в голову взбрело покурить благовонную травку?..

Он искал виновных – вокруг да около. И в то же время чувство объективности – неизменное чувство художника – говорило о том, что Полынцев не прав. Атмосфера в доме, где жили и воспитывались дети, была прекрасная. Он уверен, что вокруг детей в том доме вращалась вся взрослая жизнь – жизнь матери, бабушки, деда, пока тот был живой. Но атмосфера дома зачастую не совпадает с атмосферой улицы. А если ещё взять во внимание, что речь идёт о питерских или московских улицах – многое предстанет в самом грустном свете. Мегалополисы нашей планеты – приют сатанилища; были они останутся законодателями всевозможной моды, в том числе моды на губительную дурь, какую сегодня курит русская юность или в подворотнях вкалывает в вены. И что же из этого следует? Виновных надо искать на улице? Но это слишком расплывчато. А если в этом расплывчатом море попытаться найти одну каплю – самую главную? Если быть не только объективным, но и жёстким, то нужно признать: да, это он, Полынцев, виноват в случившемся. Он подарил своей дочери жизнь и в то же время – подарил ей смерть, как ни странно, как ни страшно это прозвучит. Он – отец трагедии, как тут ни крути.

Именно дочери, а не сыну передался характер отца, его задатки, его разгорячённая кровь, толкавшая порой на безрассудство. Так что перекладывать вину – с больной головы на здоровую – это или трусость, или отчаянье, или то, что сам Полынцев определял как «интеллигентный идиотизм».

Раздумавшись, он выкурил две папиросы кряду и потом, когда вышел за дверь, нарвался на неприятный разговор со стюардессой. Эта «живая куколка» взялась его, как школьника, стыдить и отчитывать за курение в туалете. Полынцев мрачно слушал, стряхивая пепел, прилипший на одежду возле сердца – будто напрочь испепелённого. Затем наклонился – обдал «живую куколку» выхлопом дешёвых папирос.

– Дочка, – тихо признался, – горе у меня.

– Радость или горе, – бойко ответила «живая куколка», – а правила для всех у нас одни.

– Да что вы говорите? – Пассажир завёлся вполоборота. – Да был бы я какой-нибудь богатенький Буратино, так вы бы тут... И самолёт бы в Турцию угнали по щучьему велению, по моему хотению.

Стюардесса, не теряя спокойствия, возразила:

– Богатенькие на других самолётах летают.

– Ну, да, – проворчал он, – это на тех, которые пореже падают?

– Типун бы вам на язык! – «Куклолка» нахмурилась. – Идите, садитесь на место.

– Сесть – это успеется, – пробормотал он, возвращаясь кресло. – Сначала я с этими козлами разберусь...

Упитанный усач – сосед по креслу – покосился на него и с преувеличенным усердием взялся штудировать лощёный журнал, бесплатно раздаваемый стюардессами. Журналы эти и газеты брали все, кому не лень, но больше всего спросом пользовались горячительные напитки. Толстяк хорошенечко принял на грудь и находился в благодушном настроении. – Живут же люди! – воскликнул он, пощёлкав ногтем по странице. – Вот, посмотрите.

Неохотно взяв журнал, Полынцев прочитал название: «Соблазны большого города». Полистав и посмотрев картинки, которые нельзя показывать детям до шестнадцати, Фёдор Поликарлович сделал заключение:

– С жиру бесятся. Курвы.

Такая прямодушная оценка восхитила дородного усача.

– Это точно, нет на них управы.

– Найдём, – заверил странный попутчик.

– Да? Это как же, позвольте узнать?

– Я и сам пока ещё не знаю, – признался Полынцев. – Только ведь и так нельзя – сидеть, сложа ручки.

Добродушный «тюлень» поглядел на него с некоторой настороженностью и в то же время заинтересованно.

Портрет Полынцева запомнился редкой, но глубокой пахотой морщин, высоким лбом. Широко посаженные тёмные глаза смотрели печально и пристально – будто навывлет.

Серый костюмчик заметно поношенный, пожатый на локтевых изгибах. Чёрный свитер с глухим плотным воротом, кажется, мешал ему дышать – Полынцев поминутно книзу оттягивал воротниковый хомут.

– А вы, простите, чем занимаетесь? – поинтересовался румяный толстяк.

Фёдор Поликарлович поцарапал правую, горделиво вздёрнутую бровь.

– Сельским хозяйством...

– Во, как! – Тучный тюлень погладил усы. – А поконкретней, позвольте узнать?

Полынцев пожал плечами.

– Капусту на асфальте развожу.

– Серьёзно? – Толстяк едва сдержался, чтоб не засмеяться. – А в Питер зачем?

Вздыхая, Фёдор Поликарлович вспомнил соседа Самоху, который в последнее время озабочен сельским хозяйством.

– У меня контракт с американцами, – небрежно сообщил он, изображая из себя предпринимателя. – С Нового года они в Сибирь вливают десять миллионов долларов – для развития сельского хозяйства. Ну, я под это дело подписался. Козью ферму буду открывать. Мне уже дали кредит. На днях я землю выкупил – несколько гектаров. Разведу племенное хозяйство.

Мясо будет, сыр, молоко и прочее. Это рентабельно и даже очень. Лет через пять окупиться должно. Иностранцы этим делом здорово заинтересовались по той простой причине, что ничего подобного в России нет ещё.

Толстяк, поначалу слушавший с надменной полуулыбкой, под конец явно был обескуражен цифрами и выкладками.

– Козье молоко – это прекрасно. – Он пузо почесал. – По своим целебным качествам...

– Козы – наше будущее, – перебил работник сельского хозяйства. – А вот козлы должны остаться в прошлом.

– То есть, как это? – Толстяк опять настороженно глянул на него. – Козы и козлы, они же друг без дружки...

– Нет! С козлами надо разбираться! – решительно заявил предприниматель. – Я как раз поэтому лечу в командировку...

В проходе между креслами вновь замаячила «живая куколка», призывая пассажиров занять свои места и пристегнуть ремни безопасности.

– Не договорили, а жаль! – Добродушный тюлень подмигнул. – Интересно было бы узнать, как вы с козлами разобратесь намерены.

Словно спохватившись, предприниматель помрачнел и, отвернувшись к иллюминатору, начал нервно ногти грызть.

Разборку он задумал прескверную, хотя опять же, как на это посмотреть. С точки зрения закона – да, криминал. А ежели по совести судить – так в самый раз. «Тут логика простая, – размышлял он. – Если государство не шевелит мозгами в отношении защиты своих граждан – значит, граждане сами мозгою должны шевелить».

Глава 14

Северная столица встретила его свистящим ветром попеременно с дробовым зарядом крупного дождя – по крышам по стёклам так пощёлкивало, точно град горстями наотмашь лупцевал. Непогодица, правда, скоро прекратила полоскать деревья и дома. Солнце вприщурку стало проглядывать из-за туч – золотые зайцы побежали по мокрому городу.

С каким-то виноватым, пришибленным видом солнце поморгало, поморгало и опять смущённо схоронилось за косматым пологом. Стало тихо, так тихо, что капли с крыши клацали, как шляпки от гвоздей, забиваемых под окнами и под деревьями. Туманец над Невой закучерявился. Узорным багрецом рваной позолотой над питерской землёю догорал октябрь – листву разметало по улицам, площадям и многочисленным каналам.

Уже вечерело, где-то за городом зябко подрагивала полоска зари, не зажата чугунными тисками туч – кровавые отсветы брызгали в каналы, растекались по Неве. Там и тут фонари зажигались – золотыми иглами отражение втыкалось в воду, местами почти чернильную. Картинками и огненными строчками вспыхивала неоновая реклама – точно осколки семицветной радуги в большом калейдоскопе. Сильней запахло сыростью, гнильцой дерева – железоподобный сибирский лиственник много лет стоял в воде и под водой.

Полынцев хотел в тот же час, в тот же миг – как только приземлится – взять такси и ехать на квартиру своей бывшей супруги. Но теперь, оказавшись в любимом городе, он был подхвачен вихрем воспоминаний, которые здесь притаились едва не за каждым углом. А кроме этого – тень Достоевского, о котором он думал и много читал в последнее время – великая тень словно ходила за ним по пятам. «Тень» заставляла его обращать внимание на то, что раньше он бы не увидел: огнём весёлой жизни сверкающие окна ресторанов и отелей внезапно освещали согбенную фигуру человека, при помощи костыля копавшегося в мусорном баке. Молоденькие жрицы любви – представители древней профессии – попадались ему в затенённых местах. И тут же – встречались пожилые ленинградцы, идущие рука об руку. То и дело замирая с громко бьющимся сердцем, он печально всматривался в каменные дебри Петербурга, населённого новыми русскими – и не только русскими – Раскольниковыми, ради копеечной выгоды способными угробить не только старуху-процентщицу, но даже и самое невинное дитя. И в эти мгновения душу его опаляло предчувствие чего-то неизбежного, неотвратимого, что может с ним случиться в этом городе. И вслед за этим огненным предчувствием приходила твёрдая уверенность: будь, что будет, так надо.

Небо чернело, точно обугливалось; тучи напоздали со стороны незримого Финского залива, откуда шли порывы чистого морского воздуха, которым Полынцев по молодости не мог надышаться – любил бродить по берегу залива, слушать по весне разбойных соловьёв...

Снова дождик пробрасывал – реденький, робкий. Над вечерним Питером восходили купола церквей и храмов – зажигалась подсветка. И нестерпимо вдруг захотелось оказаться под спасительной сенью какой-нибудь Божьей обители, постоять и помолиться, душу согреть возле свечи, возле святого образа.

Становилось неудобно и промозгло. Нужно было о ночлеге позаботиться, а он всё бродил и бродил, будто искал вчерашний счастливый день. Попадая в тупики или в район новостройки, Полынцев временами терялся: где он есть и как отсюда выбраться? Затем он повернул куда-то к Заячьему острову и на память невольно пришёл «Вурдала Демонович», тот могучий охотник, обдиравший зайца возле костра, когда они с Самохой забуксовали по дороге в аэропорт.

Он закурил, почти не ощущая горькой сладости проклятых папирос. Зубами терзая бумажный мундштук, он отрешённо смотрел на догорающие отблески заката на куполах и шпилях Петропавловской крепости. Смотрел на воду с рёбрами тёмной мелкой ряби. Смот-

рел – и вспоминал загадочного Блока, тоже когда-то стоявшего, может быть, как раз у этих парапетов. Какая безнадежность и великая тоска должна овладеть человеком, написавшим:

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи ещё хоть четверть века – Всё будет так, спасенья нет. Умрёшь – начнёшь опять с начала, И повторится всё, как встарь:

Ночь, ледяная рябь канала.

Аптека. Улица. Фонарь.

«Зачем я вообще сюда приехал? – Тревожно озираясь, он голову в плечи втянул. – Бессмысленный и тусклый свет...

Всё будет так, спасенья нет... Зачем? Уронить крокодиловы слёзы над могилой дочери? Но если она не нужна была тебе при жизни, так после смерти и подавно. Что лукавить? Зачем ты припёрся? Пощекотать свои нервы острым ощущением от воспоминаний? Или всё-таки надо сельским хозяйством заняться – с козлами разобраться? Надо, надо! А зачем же я здесь?..»

Двигаясь дальше, он порой в темноте руки растопыривал впереди себя, точно слепой, беспомощный. Кресты на соборах, мимо которых проходил Полынцев, напомнили о крестах кладбищенских.

«Интересно, где её похоронили? На новом каком-то, наверно. Не на Пискарёвском, конечно. Поехать бы туда сейчас, посидеть в тишине... – Он прошёл мимо какого-то дворца, похожего на Дворец бракосочетания. – Кажется, вот здесь мы поженились. А вон там разво-дились... – Он посмотрел куда-то в сторону чёрной громады моста, выгнувшего спину над Невой. – Здесь не только люди, но и мосты разводятся. Так мне сказал какой-то зубоскал, кото-рый в тот день тоже развод оформлял со своею сударушкой...»

Глава 15

Вдруг сердце жарко жажнуло в ребро – и он остановился, ещё не понимая, что к чему, но уже взволнованно покусывая ноготь. Он увидел парня с телекамерой и машинально следом направился – хотя это и не по пути. Фёдор Поликарлович, как сценарист, хотя и бывший, заинтересовался телекамерой и вскоре неподалёку обнаружил человека, который, судя по всему, был режиссёром.

В районе Зимнего дворца они застопорились.

– Давай вот это крупным планом! – приглушённо попросил режиссёр. – Издалека, а потом наезжай трансфокатором...

Присмотревшись, Полинцев стал читать большой рекламный щит, с которого криком кричали необыкновенные забавы Северной столицы: «Две ночи царских утех в окружении раскрепощённых девушек и придворных шутов подарят вам незабываемое погружение в эпоху усад Распутина. Специальный интерьер, постановочное шоу и подарки с барского плеча».

– Вот это ни хрена себе – улады, – пробормотал Полинцев, стараясь держаться в тени. Раздался нежный стрёкот телекамеры.

– Снял? – нетерпеливо спросил седоволосый режиссёр.

Молодой оператор зачехлил объектив.

– Снял! Как шубу с барского плеча! – Ну, пошли, а то дождь начинается...

Целенаправленно двигаясь куда-то в сумерки, они через несколько минут расположились в кустах – неподалёку от приземистого павильона, зазывно сверкающего фейерверком электрических огоньков.

– Надо было всё-таки скрытую камеру взять, – загоревал оператор.

– Ничего, пока снимай отсюда, а попозже подойдём. Фёдор Поликарлович не сразу понял, что в таких павильонах, да и не только в таких, открыто и спокойно продают наркотики – под видом невинных благовоний или курительных смесей. Минут за пять – пока снимали этот сюжет – к павильону подошло немало разнокалиберной молодёжи: смазливые девчата и юнцы, прилично одетые, хорошо усвоившие пирсинг – серьги и кольца торчали из ушей, ноздрей, из верхних и нижних губ.

Седовласый режиссёр, поднявши воротник и натянувши кепку на глаза, подошёл к павильону и, сунув деньги в окошечко, взял цветной пакетик с благовонием. После этого он повернулся – сделал знак оператору, который потихоньку вышел из-за кустов.

– А что это вы продаёте? – Режиссёр, постучав козонками по окошечку, показал только что купленный пакетик. – Курительные смеси, благовония, – ответила женщина за стеклом.

– А вы знаете, что вот эта «Гавайская роза», «Шалфей-предсказатель» и другие ваши благовония – это наркотик?

Продавщица удивилась, а точнее сказать, изобразила удивление.

– Да какой же это наркотик, если у нас лицензия на продажу этих товаров?

– Такие наркотики, – продолжал режиссёр, – приравниваются к героину. Их продажа за границей запрещена.

– Но у нас-то ведь разрешено? Разве не так?

– А дети у вас есть? – поинтересовался режиссёр. – А причём здесь мои дети?

– Но ведь они тоже могут где-нибудь купить вот такое невинное благовоние, а потом из окошка десятого или двадцатого этажа сиганут. Вы об этом не думали?

Увидев телекамеру, продавщица отвернулась от окошечка.

Настырный режиссёр опять козонками по стеклу потарабанил, но это уже было делом бесполезным. Свет за окном погас – там зажигалка чиркнула, и мягко замаячил малиновый цветочек дымящей сигареты у женщины в губах.

– Что и требовалось доказать! – Режиссёр поправил кепку, поворачиваясь. – Ты снял? Как у тебя?

– Как в Голливуде! – заверил оператор. – Хотя насчёт звука я не уверен.

– Ну, пошли к соседнему ларьку, там ещё попытаемся...

И опять они расположились по-партизански – в тени за кустами, догола обдёрганными осенним ветром. Но тут работникам искусства не повезло.

Из-за угла павильона появилась плечистая фигура в сером плаще с кулаками в чёрных перчатках.

– Господа! – вежливо, но твёрдо зашуршал серый плащ. – Давайте-ка отсюда по-хорошему. Пока трамваи ходят.

– Да мы пешком... – миролюбиво начал режиссёр. – А в чём дело?

– Тут снимать нельзя!

– Как это – нельзя? – заартачился режиссёр. – Где это сказано? Если законом не запрещено, то можно.

Человек в чёрных перчатках приблизился.

– Тут я – закон. Усёк? – Нахально заявил он. – Вали отсюда! Живо! Или я угрожаю всё это кино к ядрёной матери!

– Но, но! – возмутился режиссёр. – Давайте без рук!

– Значит, ногами угрожаю.

Нахал в чёрных перчатках настроен был воинственно – седому режиссёру-правдолюбцу с его молодым оператором могло бы не поздоровиться. И тут между ними – совершенно неожиданно – появился мрачный незнакомец. Молча развернувшись, он закатил такую зуботычину – нахалюга в чёрных перчатках аж подлетел над землёй, прежде чем рухнуть на кучу мокрых листьев, недавно подметённых дворниками.

Милицейская машина, проезжавшая неподалёку, резко развернулась и поехала в сторону павильона.

Незнакомец подхватил свою сумку и побежал, разбрызгивая лужи.

Глава 16

И такси помчалось по ночному городу, сверкающему огнями всевозможных соблазнов – казино, рестораны, гостиницы. И чем дальше они отъезжали от злополучного павильона, тем сильнее сожалел пассажир о своей горячности: такси влетит в копеечку. Правда, окажись он в другой машине – милицейской – было бы ещё дороже.

Водитель – коренной, воспитанный житель Северной столицы – интеллигентно помолчал, спросил через минуту:

– Простите, но... Куда нам ехать?

– А что, я адрес не назвал?

– Нет, не назвали.

– Хорошо. – У Полинцева появилась возможность соскочить со счётчика таксомотора. – А где у вас тут самые лучшие апартаменты?

– Этого добра теперь навалом. – Шофёр притормозил возле парадного, залитого яркими огнями. – Вот, пожалуйста. Три звёздочки. Устроит?

– Если б это был коньяк, то без вопросов.

– Могу вам показать, где подешевле.

Собираясь выходить, пассажир заметил: следом едет милицейская машина – может быть, та самая, а может, и другая.

– Придётся ночевать у моей бывшей, – пробормотал он, поспешно называя адрес.

Интеллигентный водитель, кажется, понял его. Молча скорость врубил и поехал, поглядывая в боковое зеркало.

«Чёрный воронок» вскоре отстал и пассажир, откинувшись на заднем сидении, расслабился, закрывая глаза.

Через какое-то время легковушку тряхнуло на кочке.

– Виноват. – Воспитанный водитель улыбнулся. – Такие дороги, что тут впору солому стелить.

Протирая утомлённые глаза, пассажир забормотал на заднем сидении:

– Знал бы, где упасть... Да только там соломка не поможет.

Всё-таки тринадцатый этаж...

Водитель быстро оглянулся.

– Тринадцатизэтажный дом? Или что вы сказали?

Мрачно уставившись за окно, пассажир помолчал, разглядывая краны с прожекторами, чёрные туши высотных домов, подпирающих звёзды.

– Я говорю, понастроили тут... – Полинцев ноготь покусал. – Ни пройти, ни проехать.

– Понастроили! – согласился шофёр, глядя в зеркало заднего вида. – Теперь, что ни дом, то дурдом. В том смысле, что никакая архитектура тут не ночевала. Лепят, кто во что горазд. Покупают землю, и давай, давай. Как будто последний день Помпеи.

Водитель сбавил газ на повороте и, не дождавшись реплики от пассажира, снова стал воспитанно помалкивать.

Голая берёзовая рощица, разграбленная ветром, закачалась ярком свете автомобильных фар – и словно отлетела в темноту. Железобетонные тумбы с кровавыми фосфорическими знаками замелькали по краю дороги, ограждая овраг.

«Долго что-то тянемся! – Полинцев заёрзал. – Или это просто потому, что я тут не был, чёрт знает, сколько...»

Он ехал по новому адресу бывшей жены – раньше, когда были вместе, жили в центре, а этот, новый, адрес был связан с рождением Анастасии, дочери. Прежнюю однокомнатную квартиру жены и двухкомнатную квартиру её родителей пришлось обменять на общую жил-

площадь: с двумя ребятишками жена бы не справилась без помощи бабки и деда, который, впрочем, лет через пять скончался от рака.

Такси покрутилось в районе плохо освещённых новостроек и, наконец-то, пассажир приехал, да только зря.

Дверь никто не открыл. Он расстроился. Опустивши сумку на пол, указательный палец просунул в глухой чёрный ворот свитера – потянул, ослабляя.

«Хотел же позвонить ещё! Растяпа! Только деньги выбросил на ветер! – Он зубами зажал папиросу. – Где вот они шляются? У сестры? Так я не знаю адрес. Да и не хочу я ту сестрицу видеть – муженёк у неё гниловатый. Ну, и что теперь делать? – Выйдя на улицу, он потоптался у подъезда, вспомнил северянина, который когда-то пригласил работать качестве редактора в Норильске. – Года три, наверно, как тут живёт. Можно позвонить. Мужик гостеприимный. Только что я скажу? Врать не хочется, а в жилетку плакаться – тем более. Да и потом – не приедешь с пустыми руками, надо будет брать пузырь с прицепом. А мне теперь нужна до звона трезвая башка. Завтра или послезавтра – кровь из носу – надо найти кое-кого. Хотя виновных надо искать не здесь – в Москве принимают законы. Но если уж я здесь, то для начала надо трубку мира выкурить – под видом самых мирных благовоний. Я это дело так не оставлю! Твари подколодные!»

Глава 17

И Полынцев начал – упорно, тупо, неостановимо – кружиться по городу, искать виновника. «А это всё равно что искать иголку в сене! – так подумал он, когда запыхался, остановившись где-то на Сенной. – И всё-таки буду искать! И найду!»

До умопомрачения он колобродил и по легендарным питерским дворам, где затаилась наша русская история, и по самым новым, пока что неухоженным дворам, где краска ещё не просохла. Десятки и сотни дверей перед ним раскрывались – или бесшумно, или со скрипом, похожим на полночный скрип гвоздей, вырывавшихся из крышки гроба. И десятки, и сотни разноцветных и разнокалиберных глаз – угрюмо, удивлённо и настороженно – смотрели на него, рентгеном прожигали, гвоздём царапали.

– Что вам? Кто вам нужен? – спрашивали иногда в приоткрытую щёлочку или в замочную скважину, или в стеклянное дуло глазка, за которым маячила тень.

И кем он только ни прикидывался в эти минуты, преображаясь лицом и голосом. Кому-то он городил легенду насчёт того, что надо снять квартиру. Кому-то врал, что он является риэлтором, представителем агентства недвижимости. А кому-то – особо интеллигентным жителям – он представлялся как истинный, коренной петербуржец, для которого очень важно проживание в центре, где высота потолков не менее трёх метров, где старинные парадные украшены лепниной, где винтовые лестницы, камин и прочие прелести прошлых веков.

– Моему заказчику нужен дом с окошком на Неву, – говорил он одному интеллигенту, а второму признавался: – Хочу поселиться на Невском проспекте.

Кто-то верил «коренному жителю» северной столицы, а кто-то осторожно, боязливо косился на угрюмого, усталого «риэлтора» – проходимцев нынче много. Неумоимо шагая по улицам, проспектам и площадям, Полынцев туфли свои до тонкой корочки исшаркал – будто наждаком сточил.

Невольно изучая модерновый современный стиль, прилепившийся к архитектуре изящного классицизма, Фёдор Поликарлович уныло отмечал про себя: «Это – стиль барокко. А это – стиль барака!» И потом, когда Полынцев разыскал нужный дом, он подумал, что это весьма символично и далеко не случайно: новый дом построен в стиле «современного барака», подспудно угнетающего жителей, будто придавленных, приплюснутых громадами. Что происходит или уже произошло на излёте двадцатого века? Печально глядя на Москву или на Питер, глядя на Париж, на Лондон, Нью-Йорк или Шанхай, нельзя не подумать о том, что современная архитектура вступила в пору поклонения железобетонным гигантским идолам идиотизма.

Всё это промелькнуло в голове – как свежий ветер возле виска. Теперь его другое занимало. Как лучше поступить? Пойти напропалую? Или позвонить соседям, уточнить? Хотя сначала надо как-то в подъезд проникнуть – на двери то ли кодовый замок, то ли «домовой»; так он называл домофон. Эту проблему решить ему удалось довольно легко – время от времени из двери кто-нибудь выходил.

Стараясь не мандражировать, он покурил на площадке и решительно позвонил. За чёрной массивной дверью какое-то время царил тишина.

«Никого? – мелькнуло в голове. – И слава Богу!» Собравшись уходить, он замер: с той стороны заскрежетали, заскрипели железные челюсти задвижек. Чёрная дверь приоткрылось – на крупнозернистой, короткой цепи.

– Я слушаю... – Голос начальственный, чугунный.

«Отец! – догадался Полынцев. – Папаша. Пахан. Как его звать? Вурдала Демонович? Или что-то навряд того...»

– Простите, – робко начал непрошенный гость, – я насчёт вашего сына...

– А кто вы такой? – перебил повелительный голос. – Учитель? Да? Опять там что-то?

– Опять! – Полынцев подхватил подсказку. – Ваш сынок отличился...

Серебристая цепь отлетела – дверь открылась. Перед ним находился могучий, обрюзгший, толстомордый хозяин. И не просто хозяин квартиры – хозяин жизни, можно сказать.

Вурдала Демонович, вот кто это был. Кровью налитые вурдалачьи глаза – то ли с похмелюги, то ли от бессонницы – стояли в глазницах как замороженные. В разрезе бархатного барского халата, полуоткрытого до пупа, виднелась такая густая шерстина, что никаких сомнений даже у Дарвина тут не осталось бы: человек произошёл не от обезьяны – от косматого козла, удачно соблаздившего какую-то хвостатую чертовку.

– Ну, проходи! – Хозяин жёстко надавил на «ты». – Правда, некогда мне, уезжаю.

– Я вас не задержу.

– Очень надеюсь на это. – Вурдала Демонович не пустил его дальше прихожей. – Итак, я слушаю...

Здоровенный, жирный Вурдала Демонович, сам того не желая, почти придавил его к стенке своим волосатым, в бархат закутанным пузом – Полынцев невольно отодвинулся к двери.

– Вы, знаете, чем занимается ваш...

– Он разве не в школе? – перебил хозяин.

Незванный гость поморщился, глядя на козлиную, колечками завитую поросль хозяина, и неожиданно выпалил:

– Он должен быть в тюрьме, а не в школе!

– Не понял... – Стопудовый господин набычился, исподлобья разглядывая гостя. – Ты кто вообще? Ты откуда?

Засунув дрожащую руку за пазуху, Полынцев достал фотографию дочери, подмятую на верхнем уголке.

– Он погубил вот эту девочку... эту невинную душу...

Волосатые руки стопудового хряка оказались на удивление цепкими – воротник затрещал, приподнявшись над затылком Полынцева.

– А ну, пошёл отсюда! Невинная душа! – зарокотал Вурдала Демонович, выпроваживая гостя на площадку. – А то я сам тебя лишу невинности!

Ох, зря он так сказал, схамил. Оскорблённая душа вспыхнула таким отчаянным огнём, который не только ослепляет, но и разрушает. Сам себя не помня, Полынцев за одну минуту успел управиться; хозяин отлетел во глубину прихожей и там обо что-то шархнулся коротко остриженным калганом, волосатые руки разлетелись крестом, просверкнули брызгами золотых да брильянтовых перстней.

Уже догадываясь, что произошло, но ещё отказываясь верить, Полынцев быстро дверь закрыл, стараясь не хлопнуть, не встревожить соседей. Потом он какое-то время истуканом стоял над бездыханным хозяином, бестолково смотрел, как из-под жирной, аккуратно выбритой щеки выползает тонкая красная нитка, всё дальше и дальше разматываясь...

«Вот это я наделал! – мелькнуло в голове. – И что теперь?»

И тут раздался голос – ещё не окрепший, но уже сажающийся на грубые басы:

– Ты с кем это воюешь, пап? Учитель, что ли? Ну, я сейчас...

«Эгэ!» – смекнул «учитель» и тяжело, и загнанно дыша, медленно вошёл в детскую комнату, озарённую солнечным утром. Глаза ученика, лежащего на кровати, сделались большими и оловянно-белыми от ужаса – лицо непрошеного гостя оказалось жутко перекошено. Паренёк тот был – Афиноген, а в школе просто – Афиген, а в подворотне и в тёмных кустах прозвали его – Антифик, с ударением на первое «и».

– Как тебя звать? – уточнил Полынцев на всякий случай.

Подросток, вжимаясь в подушку, пролепетал своё имя и тут же захныкал:

– А чо вам надо от меня?..

– Напоросятничал? – как-то очень нежно, вкрадчиво заговорил Полынцев. – А теперь вот надо отвечать. Вставай! Труба зовёт!

Антифик, дрожа всем телом, сел на кровати. Прыщеватые скулы покраснели от непроизвольной, постыдной неожиданности: белые плавки отсырели в промежности – на постели распустилось желтоватое пятно.

Полынцев показал эффектно-красочный пакетик, продающийся под видом курительных смесей или невинных благовоний.

– Где ты берёшь такую дрянь? Только не ври! Глядя на мокрые ноги, подросток пролепетал:

– Это отец... Я у него...

Изумлённый Полынцев машинально посмотрел в сторону прихожей.

– У него? Он что – употребляет?

Подросток заупрямился. Молчал, зверовато зыркая из-под бровей. Пришлось ненадолго перекрыть кислород.

– У него оптовая продажа... – Антифик, задыхаясь, раскололся и тут же заканючил: – Только вы ему не говорите, а то убьёт...

– Час от часу не легче, – пробормотал Полынцев, брезгливо отряхивая руки. – А где у него эти... Склады, погреба или что там такое?

– За городом. Как на дачу едешь, там... – Подросток неожиданно замолк, блестящими глазами глядя в сторону двери.

Полынцев повернулся и обомлел.

Многопудовый боров, убито лежавший в прихожей, благополучно воскрес. Окровавленный, всклокоченный и потный Вурдала Демонович стоял, покачиваясь, на пороге в детскую комнату. Глаза его горели – сухими сумасшедшими алмазами. А в руке – волосатой, трясущейся – мерцал небольшой пистолет.

Жутко улыбаясь, Вурдала Демонович – медленно, будто во сне – облизнул оружие, испачканное кровью. Сумасшедшее, алмазно горящее око – тоже медленно, сонно – подмигнуло Полынцеву, который отступил подальше от оружия и оказался в бетонном углу. Волосатая рука – опять же довольно-таки медленно, сонливо – передёрнула затвор. Окровавленный палец мягко нажал на курок, но выстрела Полынцев не услышал – не успел.

Его разбудили.

Глава 18

Море шумело вокруг, шебуршало – поначалу так показалось. До слуха докатился отдалённый гул вокзала, напоминающий гудение прибора; нестройные людские голоса шумели, словно под берегом шумела-перекатывалась галька. А за стенкой где-то рывкнул тепловоз, пронзительным криком своим ничуть не отличаясь от теплохода.

Затем кто-то настойчиво, властно потрепал по плечу. – Проснитесь, гражданин!

Степенный, строгий милиционер, приподнимая руку к тёмно-серебристому виску, представился и потребовал документы у гражданина, спавшего на деревянной вокзальной лавке.

Документы оказались в порядке, а вот глаза гражданина вызывали смутную тревогу и подозрение – заполошно рыскали, старясь не наткнуться на глаза старшины. Ещё раз внимательно пролистав документы, милиционер машинально взял под козырёк и попрощался, пожелав удачи.

«Лучше б ты меня арестовал!» – неожиданно подумал Полынцев, всё ещё находясь во власти прерванного жуткого сна.

Выйдя на улицу, он закурил, прочищая мозги дешёвеньким каким-то горлодёром. Кошмарный сон, так вовремя оборванный милиционером, будто продолжал красной пеленою застилать глаза. Полынцев раза три подряд крепко зажмурился и только потом сообразил: перед ним висел малиновый плакат, рекламирующий очередную какую-то хренотень, без которой человек не может быть счастливым. Отвернувшись от плаката, он потоптался возле телефонной будки, потрескивая желто-червоным листарём – клёны облетали по-соседству.

С трудом припоминая нужный номер, Фёдор Поликарлович дозвонился до бывшей своей, сказал, что он здесь, в Петербурге. Звонок его не вызвал никаких эмоций на том конце провода. Вера Васильевна, его бывшая, говорила ровно, бесцветно, тихо. Полынцев еле-еле уловил суть разговора: бывшая как раз в эти минуты с сыном собиралась ехать на могилу дочери и они договорились встретиться возле метро, чтобы оттуда отправиться вместе.

Поглядев на огромные вокзальные часы, Полынцев решил прогуляться пешком – время есть.

Мелкий дождик начинал бросаться бисером, загоняя воробьёв и синиц под козырьки и застрехи ближайших строений, и только малые поганки да широконоски продолжали вольготно плескаться и плавать в каналах, куда опрокинулись голубые осколки осеннего неба, разбитого тучами. Холодный ветер будто с метёлкой прошёлся перед Полынцевым – со свистом расчищал дорогу, шаловливо вертел и гонял по асфальту рваные листья, приклеивал их к мокрым окнам, стенам и высоким рекламным щитам.

Страшный сон, который не удалось досмотреть, снова и снова душу бередил, когда Полынцев обращал внимание на большие новые дома – современные небоскрёбы, плотинами стоящие на пути волнообразных чёрно-фиолетовых и синеватых туч, со стороны Финского залива гонимых потоками сильного морского ветра.

Двигаясь к метро, он посмотрел на стену старого ленинградского дома, на котором висела памятная плита, будто поклёванная осколками от снарядов. Надпись на плите гласила: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!»

Сам не зная почему, он поспешил перейти на другую сторону улицы и при этом испуганно голову в плечи втянул – точно опасаясь артобстрела. Затем, уже неподалёку от метро, он остановился покурить под каменным козырьком – укрылся от дождя, который скороговоркой зачастил по жестяным чердакам, по щекам плакатов. Машинально поглядывая по сторонам, наверху замечая хвосты голубей, торчащие из укрытий, замечая зонтики прохожих, зацветающие огромными букетами на тротуарах, Полынцев отчего-то вздрогнул – даже сам не понял

в первый миг. А затем усмехнулся, укоризненно качая головой: «Будь она проклята, эта привычка – вторая натура!»

Он увидел красочную вывеску редакции питерского журнала и так обрадовался, будто именно эту редакцию три дня, три ночи искал по городу.

Глава 19

«Мастерство не пропьёшь!» – говорят остряки, и в этой шутке есть большая доля правды – неприятная доля, нужно признаться. Много тяжких мыслей пронеслось в голове, когда Полынцев собирался улетать, но всё-таки одна застряла – чисто практическая мысль, профессиональная. Если в кои то веки он вырвался в Питер, так необходимо это использовать на полную катушку – по редакциям побегать, потолкаться на киностудиях, предлагая свои работы, от которых у него распухла сумка, свинцово надрывающая руку.

Он был так заиклен на этих своих творческих работах, что порою становился то ли рабом, то ли роботом, для которого ничего другого не существовало на белом свете. И в ту минуту – оказавшись возле вывески журнала – Полынцев поймал себя на том, что собирается заскочить в редакцию; время есть, можно успеть. Здоровой частью мозга, не до конца ещё угробленного творчеством, он понимал, насколько циничен весь этот чертов профессионализм, въевшийся в душу. Понимал и всё же не мог перебороть «соблазн большого города» – сделал несколько шагов в сторону редакции.

Разозлившись на себя, он отвернулся от вывески и, проходя мимо каменной арки, заметил чахоточный костерок, слабо трепыхавшийся в глубине сырого, старинного двора-колодца. И тогда в нём что-то закричало – или кто-то в нём закричал – о том, что пора, наконец-то, покончить с этим цинизмом, с этим проклятым профессионализмом, из-за которого вся жизнь кувырком полетела.

Не давая себе опомниться, он быстро прошёл под каменной, гулкою аркой и, остановившись около костра, стал решительно, резко выбрасывать разношёрстную писанину.

Дворник с метёлкой появился откуда-то.

– О-о! – блаженно сощурился, потирая грязные ладони. – Погреемся!

Сырая бумага – под мелким дождём – плохо горела, чадила, но всё-таки пламя кусало, с хрустом жевало многолетнюю стряпнину – страницу за страницей, испещренную вдохновенной, порывистой клинописью. И чем сильнее разгоралось пламя, тем ярче отражалось в глазах Полынцева – там плясали золотые, сумасбродные чёртики. Что-то в нём торжествовало в ту минуту.

Он прикурил от костра «инквизиции» и хищновато прищурился, мысленно топча в себе остатки сожалений. Так ему! И только так! Сплюнув под ноги, Полынцев взял почти пустую свою сумку, отвернулся от огня и широкими шагами двинулся прочь, испытывая невероятное облегчение и даже чувство некоего геройства – не всякий автор способен на такое самосожжение. И правильно, правильно он поступил. Надо было давно запалить жаркопламенный костёр инквизиции – испепелить к чертям собачьим всю эту «нетленку» и успокоиться, нормальной жизнью жить, детей растить. А он? Ведь если вдуматься, то просто ужас – на какую, в сущности, ерунду, мишуру и химеру он растратил свои силы, свою жизнь. «Я знаю про людей что-то такое, чего они не знают про себя!» – высокопарно и самонадеянно провозгласил он в туманной молодости. А что теперь? Ну, что ты знаешь, милый? Чем ты осчастливил нас, каким таким великим откровением ты озарил потёмки человеческой души?

И тут он неожиданно споткнулся на ровном месте. Споткнулся – и оглянулся. «Боже мой! – резануло по нервам. – Что я делаю?! Ведь это же горит вся моя сознательная жизнь, всё моё оправдание перед Всевышним!»

Полынцев плохо помнил, как метнулся по сырому двору, как падал, как стоял на четвереньках и поспешно выхватывал каштаны из огня – страницы, подёрнутые дымом и до сухого хруста уже закучерявленные жаром.

– Нашёлся тоже Гоголь, мать твою! – хрипел он, поплёвывая на обожжённые пальцы.

Дворник, опухший с похмелья, рядом стоял и под сурдинку посмеивался, глядя, как мужик на четвереньках ползает кругом костра и собирает то, что недавно выкинул.

– Перепутал, что ли, божий дар с яичницей? – удивился дворник, продолжая скалить прокуренные зубы, среди которых поблёскивала тёмно-желтая фикса, такая широкая, будто из ружейного патрона сделанная.

Фёдор Поликарлович так посмотрел на дворника – бедолага подавился смехом и закашлялся, отходя в сторонку от греха подальше.

Собирая обгорелые листья, Полинцев обратил внимание на кривые поэтические строки:

Звенела солнечная нить
И под луной цветы сияли,
И невозможно объяснить
Из-за чего мы так смеялись.
Нам было просто хорошо,
Поскольку дело молодое.
Как быстро век любви прошёл,
А вместе с ним и век покоя!
Порвалась солнечная нить,
А нитки снега выются, выются...
И невозможно объяснить
Из-за чего так слёзы льются!..

Поднявши ворот длинного, тёмно-голубого старого плаща, понизу окапанного грязью и водой, Полинцев понуро брёл по утреннему городу. Смотрел себе под ноги и временами видел странно опрокинувшийся мир: в лужах купола дрожали чистым золотом, небеса плескались рваной синевой. Трамвай над головою затрезвонил, когда Полинцев сутуло проходил по мокрым рельсам, где лежали насмерть зарезанные листья – красное раздавленное мясо. Затем заскрежетали тормоза машины, едва не сбившей горе-пешехода, бредущего на красный свет. Незрячими глазами глядя перед собой, он порою наткался на прохожих, на фонарные столбы. Какая-то влюблённая парочка посмеялась над ним, говоря, что дяденька с утра уже поддатый.

«И мы тут смеялись!» – подумал дяденька, припоминая первую любовь, которая вот здесь, на этих мостах, перекрёстках и площадях жгла его юное сердце в пору белых, безумных ночей.

Остановившись, он закурил у гранитного сырого парапета, наклонился над холодной рябью узкого канала, где лебяжьим пухом плавали остатки тумана. Протёр глаза и посмотрел на солнце, восходящее над городом, на чёрный силуэт какого-то высотного здания.

И опять и опять – неожиданно ярко, подробно – вспоминал всё то, что недавно приснилось, то, что предстояло ещё сделать, или предстояло осознать, что этого делать не надо. Но как же – не надо? А что тогда надо? Лапки сложить и сидеть, ждать Божьей кары? А как же в таком случае понять священную Библию? «Мне отмщение, и аз воздам!» – «На мне лежит отмщение, и оно придёт от меня!» Разве не так проповедует Библия? Или я неправильно трактую церковно-славянские тексты?..

Решение о том, что делать дальше, Полинцев хотел принять позднее, ближе к вечеру – после того, как съездит на могилу дочери. А пока он шёл на встречу со своею бывшею семьёй.

Шёл медленно, устало, готовый плюхнуться на первую попавшуюся лавку и заплакать под тихим осенним дождём, так хорошо скрывающим слёзы.

Сквозь тучи пробивалось робкое шафрановое солнце.

Лужи слепящим светом вспыхивали, как прожектора, облепленные рваною листвою. На карнизах ворковали голуби, воробьи верещали. Утки плескались в каналах, ныряя за кормом, поплавками выставляли жирные зады.

Возле метро Полынцев увидел междугородний телефон-автомат и встряхнулся. В нём снова напрягались упрямые пружины, толкающие к действию. Боясь передумать, он начал дозваниваться до своего далёкого соседа, мысленно прося и умоляя всех богов, чтобы в эту минуту и связь не подкачала, и Самоха был бы на месте. И услышали боги его – всё в эту минуту срослось. Он представил, как Самоха, новоиспечённый сельский барин, руку тянет к трубке – бриллиантовый перстень в четыре «квадрата» сияет на указательном пальце.

– Семён! – твёрдо сказал Полынцев. – Я не приеду!

– Понял. Не дурак. – Самоха не удивился. – Значит, деньги за дом высылать?

– Обязательно! Делай всё, как мы договорились! – Лады. А ты?

– А я начинаю новую жизнь! У меня ведь здесь ещё сынок – Василир...

На том конце провода что-то ещё говорили, но Полынцев бросил трубку и пошёл – навстречу новой жизни.

Глава 20

Море было доступно ему – в те далёкие годы. Синеокое море, спокойное, ясное. Он частенько ездил в Старый Крым, неоднократно посещал Коктебель. Сухими полынями пропитанный воздух – это был семейный терпкий воздух Фёдора Полинцева, человека в ту пору счастливого, безмятежного. Он увлекался творчеством поэта и художника Максимилиана Волошина и поэтому сына хотел назвать Максимилианом.

Узнав об этом, жена и теща, закусивши удила, встали на дыбы, не желая признавать Максимилиана – непомерно длинное, громоздкое имечко.

– Лучше давайте Алексеем назовём, – предлагали они. – Или Василием.

И тогда отец – будто бы назло надменному соседу – придумал нечто небывалое: Василир.

– Ни вашим, ни нашим! – однажды заявил он, показывая твёрдую казённую бумагу, на которой имя было скреплено двуглавой орлиной печатью.

И жена, и теща молча уставились на него, как на придурка.

Только тесть обрадовался; глуховатый Василий Капранович не расслышал окончания имени – подумал, что внука назвали в честь его, новоиспечённого дедули. Но даже и после, когда он разобрался, в чём дело, Василий Капранович всё равно оставался на стороне чудаковатого зятя.

– Бабы! – жизнерадостно говорил он. – Что бы вы понимали? Ни у кого такого нет, а у нас – пожалуйста! Василир!

– Ну, это уж совсем, бог знает, что...

– Ладно, бабы, всё, базар закрылся, рынок тоже, – подводя черту, решительно заявил Капранович.

Недовольные бабы долго не хотели мириться, думали даже втихомолочку переписать документы, но потом успокоились.

Глава 21

Полынцев – после того, как продал избу – настроился какое-то время пожить с семьёй в Петербурге, пока сына в армию не заберут. Жить под одною крышей с бывшею своею – оказалось не очень комфортно, но Полынцев решил потерпеть из-за сына. Парень вырос отчаянный, дерзкий, горячностью и глупостью похожий на молодого отца – Василир уже предпринимал несколько попыток поймать и уничтожить виновника гибели сестры.

– Не надо! – мрачно увещевал отец. – Жизнь всё расставит по местам.

– Да ничего она не расставит, пока сам не возьмёшься! – угрюмо отвечал высокий, мускулистый парень.

Заявление это пугало тем, что и он, Полынцев, подсознательно думал так же: если ты не возьмёшься что-то исправить в жизни – никто за тебя это делать не будет.

Сын вырос крепким, самостоятельным; занимался тяжёлой атлетикой, единоборствами.

Вера Васильевна, мать, говорила:

– Он с этим железом – как ненормальный в последнее время. Целыми часами в спортзале пропадает. Правда, он и раньше тоже занимался, но не так... – Большие светло-изумрудные глаза у женщины тревожно сверкали. – Боюсь я за него.

– Что? – Полынцев усмехнулся. – Грыжа вылезет?

Вера Васильевна несколько секунд, не мигая, укоризненно смотрела на него.

– А ты что, не догадываешься? – Женщина сокрушенно вздохнула. – Он обмолвился однажды... Всё равно, говорит, я это дело так не оставлю. И вот с тех пор я заметила – часами пропадает в спортзале. А недавно купил перчатки. Боксёрские.

После этого Полынцев осторожно поговорил с любителем бокса и тяжелой атлетики. Сын отвечал ему спокойно и уверенно, сказал, что уже побывал в военкомате, определился по поводу службы.

– Ну, и что? Куда? – спросил отец.

– Военно-воздушный десант.

– Это хорошо, хотя и трудно.

– Ничего, как-нибудь...

Отцу было приятно – парень мог за себя постоять. И в то же время было тревожно. Молодой, горячий, гордый Василир обладал ударом кулака в двести двадцать, двести сорок килограмм – они специально замерыли по время прогулки в парке, где находилась куча всевозможных развлекательных машин и агрегатов: американские горки, японские роботы и что-то ещё – всё иностранное, всё наименованное по-английски. Подойдя к силомеру, парень покачал головой.

– Вот буржуи, да? Что только не придумают!

– А ты был в Самаре? – неожиданно спросил Полынцев. – Нет. А причём тут Самара?

– А притом, что в Самаре наш русский физик сконструировал и запатентовал – прошу заметить! – запатентовал уникальное своё сочинение... ну, то есть, это... изобретение под названием «силомер». А эти буржуи потом по проторённой дорожке пошли.

– Ловкачи! – Василир нахмурился, глядя на агрегат. – А ну-ка, дай, ударю по буржуям!

Посмотрев на цифры силомера, Полынцев покачал головой: такой здоровяк сгоряча может дров наломать.

– Сынок, – тихонько стал внушать Полынцев, – что было, то было. Ничего не вернёшь. Нужно думать о будущем. – А мне говорили, надо жить настоящим, – ответил сын. – Кто говорил?

– Да в школе...

Полынцев закурил.

- Правильно, в общем-то, говорили. Только и о будущем не надо забывать. Ты куда после армии думаешь?
- Да что сейчас об этом? – Парень пожал плечами. – Отслужу, там будет видно.
- Тоже правильно.

Глава 22

Поначалу Фёдор Поликарлович, с юности отличавшийся бойким пером, устроился в заводскую газету, а через месяц-другой – неожиданно для многих – пополнил ряды работяг.

Во-первых, рабочим платили побольше, а во-вторых, ему было противно и унижительно строчить галиматью на злобу дня.

После работы и в выходные он частенько ездил на могилу дочери, подолгу там сидел, угрюмо глядя в землю, и всё о чём-то думал, думал, думал, глубокими морщинами взрыхляя лоб.

Глаза его порою становились болезненно-блестящими, словно прожигаящими землю.

– Братишка твой несдержанный, – бессвязно бормотал он, – только ты не бойся, дочка, за него... Я не позволю... Мне отмщение, и аз воздам!..

Затем пришла пора – сына призвали в армию. Полынцев провожал его довольно сдержанно, да и сынок относился к нему не то, чтобы прохладно, а как-то смущённо, словно бы не веря, что этот дядька – его отец.

Перед самым прощанием Полынцев зачем-то стал расспрашивать:

– Кажется, его тоже в армию взяли? – Кого – его? – не понял парень. – Ну, того... Анти-христ или как его?

– Антифик. – Сын сердито шевельнул бровями. – Его от армии родители отмазали.

– То есть как – отмазали?

– Ну, как? Есть такая мазь. Волшебная. Ты что, не знаешь? – Отмазали? Понятно. А где они теперь? Они ведь переехали?

– Да, переехали, – нехотя ответил сын.

– Ты новый адрес знаешь? Нет? А если честно? – А если честно: мамка не велела.

Полынцев помолчал, пристально глядя парню в глаза, очень похожие на его, отцовские.

– То, что ты мамку слушаться привык – это похвально, сынок. Мамка плохого не посоветует. Она хорошо воспитала тебя. Я горжусь...

– Неужели? – с нежным ядом в голосе удивился парень. – А знаешь, как французы говорят? Или эти, англичане. Знаешь, как они говорят? Не воспитывайте детей, всё равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя...

Отец грубовато обнял его. По спине похлопал.

– Грамотный, чертяка. Весь в меня. Ну, давай, солдат, счастливо. Свидимся ещё, даст Бог. Поговорим.

Проводивши сына, Полынцев перебрался в неприглядное и довольно-таки беспокойное общежитие – комнатку «сделать» помог недавний хороший знакомый, работавший комендантом заводской общаги. Здесь нередко шумели застолья по тому или иному поводу, но Фёдор Поликарлович в этих гульбищах не принимал участие. Иногда – если очень настаивали – мог посидеть в компании, попить минеральной водички. В прошлом балагур и весельчак, он теперь всё больше помалкивал и всё реже глаза поднимал.

Вечерами он постоянно стал куда-то пропадать после работы – не заходил в общежитие. И если бы кто-то за ним проследил в это время, очень удивился бы тому, как Полынцев преобразался – в буквальном смысле и переносном.

У него был с собою портфель, где находилась довольно-таки интересная куртка: снаружи подкладка серая в клеточку, а внутри – кроваво-красная. Переодеваясь где-нибудь в вечернем сквере за деревьями, Полынцев издалека был замечен как гражданин серый в клеточку, а через десять-пятнадцать минут он зачем-то превращался в гражданина, облачённого в кроваво-пурпурную куртку. Он вёл себя как человек из какого-нибудь детектива или криминального романа.

Однажды вечером он пришёл к своей бывшей супругнице.

Посидели за столом, чайку пошвыркали.

– Как там наш солдат?

– Освоился, – с полуулыбкой сказала бывшая. – Три раза прыгал с парашютом. Фотографию прислал.

– Покажи.

Глаза на фотографии у парня грустноватые, но голова держалась на подъёме – гордо, крепко.

– Это хорошо... – сказал он вдогонку своим раздумьям. – второй фотографии нет?

– Нет. Одна.

Они помолчали, глядя в пустые чайные чашки.

– Ну, ладно, – он встал, – я пойду.

– Иди, уже поздно.

Вера Васильевна к нему давно остыла и ей было совершенно безразлично, куда он пойдёт или поедет в этот поздний час.

Без ребятишек дом опустел, а Полынцев эту пустоту не мог заполнить, даже если бы очень хотел.

Во время этих редких встреч, сопровождавшихся тягостным молчанием, они напоминали двух пассажиров, случайно оказавшихся под крышей одного вокзала в ожидании тех скорых поездов, которые должны были их увезти в разные стороны.

Глава 23

Наступила осень, как всегда промозглая, сырая в этой северной столице. Сентябрь по обыкновению простоял ещё тёплый, но безутешно плаксивый – все дороги разлужились. Земля на кладбище, куда Полынцев пришёл последний раз, оказалась настолько расквашена – к могиле дочери не протолкнёшься без того, чтобы не врюхаться по щиколотку в грязь. А вслед за этим – в первой декаде октября – погода засуровилась. Ночами даже снежок пробрасывал. Заморозки по утрам на проспектах и улицах стеклом покрывали асфальт, заставляя водителей заниматься «фигурным катанием».

Ближе к полудню, правда, пригревало – золотым стеклорезом солнце отчаянно резало тонкий ледок, выжигало в парках и садах куртинки снега. Перепадали даже такие дни, когда солнце палило почти по-летнему. Груды обсохшего листвы, сбитого дождём и ветром, снова зашуршали, как большие пауки, в парках и садах. Молодые люди там и тут снова сидели на скамейках, обнимались и даже целовались напоказ – это теперь в порядке вещей. И это целование – показное, бесстыжее – сильно раздражало Полицева. Так раздражало, будто люди не целовались, а в душу ему плевали. Головою-то он понимал, что это не так, а вот сердцем не мог ни понять, ни принять.

Особенно сильно раздражала его одна парочка – гусь да гагарочка. Разодетая в пух и прах, беспечная, раскрепощенная парочка эта всё время появлялась в одном и том же месте – возле пруда. Они кормили уток, на зиму остававшихся тут, сидели в кафе, что-то пили, курили – тоже мода сегодняшнего дня: парень свою девушку угощал сигареткой. И это опять же раздражало Полицева так, будто в душу плевали.

Стараясь быть незамеченным, он стоял неподалёку, болезненно-блестящими глазами караулил парочку. А потом он за деревьями таился, рядом с подъездом, куда паренёк возвращался, проводивши свою кралю. Жил паренёк неподалёку от Таврического дворца, где в позапрошлом веке, говорят, устраивал пиры светлейший князь Потёмкин.

Проходя неподалёку от Таврического дворца, Фёдор Поликарлович криво улыбался: «Светлейший Потёмкин! Как странно! Где тут свет, а где тьма? Кто мне скажет?»

Вечерние прогулки в районе Таврического продолжались, примерно, с неделю и закончились тем, что однажды Полынцев, необычайно взволнованный, будто заболевший лихорадкой, пришёл в ближайшее отделение милицию и добровольно сдался.

– Мне отмщение, и аз воздам!.. И где тут свет, а где Потёмкин – я не пойму! – сбивчиво бубнил он, криво улыбаясь и протягивая руки – словно за подачкой – за наручниками.

В следственном изоляторе – в Крестах – его продержали недолго, потому что судили в особом порядке: он полностью признавал вину.

Глава 24

Русская земля как будто испокон веков – ужасно густо, плотно, непролазно – опутана ржавой паутиной колючей проволоки. Особенно густо и щедро – десятками и даже сотнями километров – колючка была протянута по землям бесчисленных советских лагерей. И вот эта картина – сплошное торжество колючей проволоки в родном отечестве – так сильно, так больно застряла в генной памяти трёх-четырёх поколений, что теперь многие русские люди с уверенностью могут говорить: «Колючка – это наше изобретение!» Однако же нет, извините. Русский характер не напрасно всё-таки называли широким, размашистым; было в нём, было что-то от вольного ветра, от буйства половодья, от молодости молний, разметававшихся по весенним степям и полям. И невозможно представить, чтобы этот вольный синеглазый ветер сам себе сотворил бы колючую клетку. И никак нельзя вообразить половодье, ограниченное проволокой; облака и тучи, для которых устроен специальный узкий коридор, униженный руко-творно-хитрыми шипами, не позволяющими свободно пройти туда, где зацветает кровавая роза вечерней или утренней зари. Нет, господа, извините, вольнолюбивый славянский характер не вяжется с изобретением колючей проволоки, похожей на свирепую клыкастую собаку, молчаливо и преданно день и ночь торчащую на страже.

Вот об этом он и говорил – Папа Карлович, осуждённый под номером 375/14. Хорошо он умел говорить – уши греть на морозной делянке.

Зимнее солнце почти неподвижно стояло в желтоватом студёном ореоле, точно при-мёрзло над кронами заснеженного лесоповала. В тишине, перелетая с дерева на дерево, пощёл-кивали снегири, попискивали синицы, проворные поползни шастали вверх и вниз по верти-кальным сосновым стволам. Трудился где-то незримый дятел – дробные звуки рассыпались над головами.

Возле костра, полыхающего на делянке, минут пять или десять приглушенно брякали ложки, миски – казённое варево, слегка дымясь, проворно исчезало в глотках мужиков, одетых в замурзанные телогрейки с белыми порядковыми номерами, нашитыми на груди.

Молодцеватый широкоплечий парняга посмотрел поверх забора, опутанного колючей проволокой.

– Папа Карлович! – заговорил он, поправляя шапку, тоже имевшую порядковый номер, только внутри. – А ты не заливаешь по поводу колючки?

– А мне это зачем? – вопросом на вопрос ответил тот, кого называли «Папа Карлович». – Сходи в библиотечку и проверь.

– Надо же! – облизывая ложку, удивился широкоплечий. – А я всё время думал, что это наше изобретение – колючка.

– Нет, ребята, увольте! – Папа Карлович усмехнулся. – Нам чужой славы не надо, нам и своей предостаточно. Колючая проволока – змея подколотная с ядовитыми зубьями – при-ползла на наши земли из-за моря-океана.

– Это откуда же она?

– Отец колючей проволоки – американец Глидден.

– Гнидин? – уточнили сбоку. – Гнида, стало быть?

– И так можно сказать, – согласился Папа Карлович. Мужики возле костра зашумели.

– Вот какая гнида! А? Скумекал!

– Ну, а кто же ещё, кроме гниды, такую хренотень скумекать может?

Проворно уничтожив похлёбку, заключённые могли теперь спокойно покурить и потрын-деть. Крепкий запах махорки и дешевого табака на несколько минут заглушил, оттеснил запах прелого снега, тестообразно подтаявшего кругом кострища; запах влажной хвои отодвинулся;

пропал аромат подсыхающих веток и сучьев, приготовленных для поддержки длительного огня на делянке – костёр тут приплясывал от темна до темна.

Молодцеватый парняга – его тут прозвали Горячий – спрятал свою деревянную ложку за голенище валенка.

– Слушай, Папа Карлович, – хрипловато заговорил он, – а ты откуда всё это знаешь? И про колючку, и вообще...

– Всего не знает даже Господь Бог, – скромно ответил номер 375/14, царапая седой каракуль на щеке – щетина густо выперла.

– Это верно, – зевая, согласился Горячий. – Даже чёрт не знает, что эта проволока под напряжением в сто сорок вольт.

– Гонишь?! – удивился Папа Карлович. – Неужто правда?

– Можно проверить, – спокойно ответил Горячий. – Ватникними и садись голой ж...

– Нет уж, спасибочки, я постою.

Горячий зло посмотрел в сторону проволоки.

– Живём, бляха-муха, как в фашистском концлагере, если не хуже. Там хоть были враги, захватчики. А тут – свои фашисты. Доморощенные. Я всех бы их порвал – дай только волю.

Папа Карлович пожал плечами, раздавленными каторжной работой на лесоповале.

– Вот потому и не дают ни свободы, ни воли. А вот когда маленечко остынешь...

– Я только в гробу остыну!

– Ну, там-то мы все одинаковы, – согласился Папа Карлович и продолжил «колючую» тему: – А мне вчера электрик говорил, что в проволочной цепи есть участки, где стоят предохранители. На столько-то ампер, я не припомню.

– Это они специально оставили! – подхватил Горячий. – Я ж говорю, что эти твари хуже фашистов!

– Специально? Зачем?

– Русская рулетка. Знаешь? «Колючка» называется или «Шашлык».

– Нет, не знаю. Ну-ка, расскажи.

– Папа Карлович, да всё довольно просто. – Горячий сплюнул, отвернувшись. – Тут фразера в картишки режут, а проигравшийся должен голой грудью на амбразуру броситься – на колючку. Если повезёт – живой останется.

А нет – шашлык получится.

– Сурово.

– А как ты хотел? Зона всё-таки – не зона отдыха.

– А в соседней зоне, – прошептал кто-то сбоку, – мины стоят на растяжках.

– Ерунда. – Горячий отмахнулся. – Там сигнальные мины. Много будет шуму, но человек останется живой. Ну, может, кое-что ещё и в штанах с перепугу останется. Но главное – будет живой. Разница есть?

Мужики возле костра ещё немного покурили на верхосытку, поговорили. Где-то за деревьями три раза шарахнули в подвешенную рельсу. Промороженная сталь истошно взвизгнула, точно живая – эхо завизжало по тайге, разлетаясь по дальним урманам, пугая зверей и птиц.

Горячий нехотя поднялся, посмотрев на конвойного, открывшего двери теплушки, стоявшей неподалёку.

– Ну, пошли! – Горячий сплюнул под ноги. – А то сейчас опять хайло разинут...

– Это у них запросто! – загудели эки, тоже поднимаясь и второпях досасывая окурки. – Пошли, пока работа в лес не убежала!

Мёрзлые ветки и сучья затрещали под тяжёлыми полупудовыми валенками, оставляющими на снегу твёрдые широкие следы, прошитые суровой дратвой.

Таёжная округа, притихшая на краткое время обеда, который тут зовётся приёмом пищи, опять оголосилась грубыми криками пыльщиков, вальщиков леса. Бензопилы опять зарычали,

сизыми кольцами дыма кольцую чистый воздух. Топоры сучкорубов застучали, сверкая стальными всполохами. Трелёвочные тракторы взревели разбуженным лютым зверьём – надсадно потащили длинные туши кедров, сосен, лиственниц.

Час за часом на краю делянки – неподалёку от забора с колючей проволокой – выростала деревянная гора, издавала белеющая круглыми гладкими спилами, похожими на контуры мишеней, нагромождённых до самого неба: стреляй, не хочу.

И кто-то из конвойных выстрелил от скуки – зайца увидел кустах.

Всполошившиеся автоматчики – три человека – из-за деревьев прибежали на выстрел.

– Кто? Что? Побег? – раздавались голоса, помноженные таёжным эхом. – Ты что, совсем уже? Дубьё! Нашёл развлекаловку!

Одиноким «развлекательным» выстрел, многократным эхом унесённый в студёные распадки, в душах заключённых породил смутное чувство тоски и тревоги; побег, он как локоть, близко, чёрт возьми, да не укусишь, хотя порой находятся отчаянно-зубастые.

К вечеру похолодало. Короткий зимний день замуривал серые свои, туманные глаза. Голубоватые тени растягивались на снегу. Терялись очертания заснеженных кустов, под которыми тёмным порохом порассыпаны семена – птицы днём натрусили. Стушевались контуры дальних деревьев, накрытых белыми папахами. И уже почти пропали в воздухе пунктиры колючей проволоки, словно бы кто-то снимал её на ночь – сматывал, скручивал в бухты, похожие на дикобразов или громадных ёжиков. Над лесоповалом затихали птицы. Белка пряталась в дупло. Трелёвочные тракторы заглохли, стальными мордами уткнувшись в кучи наваленных деревьев.

Солнце, похожее на колоссальную каплю золотисто-красной остывающей смолы, лениво съехало, сползло за горы, за кроны заснеженной тайги.

Благополучно помер ещё один проклятый каторжный денёк той новой жизни, которой поневоле жил теперь Полынцев Фёдор Поликарлович, с недавних пор больше известный как Папа Карлыч или просто Поликарлыч.

Нередко день его заканчивался посещением церкви – теперь это не удивительно; теперь во многих зонах имеются часовни и даже вполне приличные церкви, сработанные руками здешних мастеров, руками когда-то воровавшими или убивавшими.

Если время позволяет, Поликарлыч подолгу простаивает в тишине – рядом нет никого. Стоит, угрюмо смотрит на иконы. Шапку тискает в руках. И снова и снова в голове у него крутится фраза из Библии:

– «Мне отмщение, и аз воздам...» – бубнит он, опуская голову. – «На мне лежит отмщение, и оно придёт от меня...» – Вдыхая, Полынцев глядит на икону. – Разве не так проповедует Библия? Или я неправильно трактую церковно-славянские тексты? Чего молчишь? А-а-а! Нечего сказать? Ну, тогда я пошёл...

В бревенчатом затхлом бараке – согласно официальным законам – у Полынцева теперь имелось в наличии законное место, по размерам похожее на могилу: два квадратных метра на человека. Но кроме этих двух квадратов, находящихся в жилой зоне, была ещё другая, промышленная зона – большие и гулкие производственные помещения, наполненные громоздкими агрегатами для ремонта техники, для распиловки леса.

Поначалу номер 375/14 добросовестно вкалывал на лесоповале, на свежем воздухе, а позднее пальцы до костяшек обморозил; рукавицы где-то потерял, а стоять «руки в брюки, хрен в карман», как говорил бригадир, нельзя, не положено – тяжёлая работа распределялась на всю бригаду. Какое-то время Поликарлович провалялся в больничке, а по выходу узнал, что его место в бригаде уже забито.

Так он попал в промышленную зону. Попервоначально даже огорчился – вдалеке от природы, от вольного воздуха, от пения птиц, которые всегда будили в нём светлые чувства и мысли. Но очень скоро скучная промышленная зона пришлась по душе – притерпелся. А через

месяц-другой Полынцев даже полюбил промышленную зону, сам удивляясь этой угрюмой, звероподобной любви. Вот уж никогда бы не подумал он, что сможет проникнуться чувством – искренним, глубоким чувством – к мёртвому холодному железу. А вот поди ж ты – проникся. Электрическая ленточная пилорама стала для него чем-то вроде зазнобы, с которой у него были свидания при луне. (Подъём очень ранний, так что луна ещё стояла над промышленной зоной).

Время за работой бежало незаметно и думы, печальные думы не точили седую голову, как это делают жуки-древоточцы, расплзаясь под седой берёзовой корой. Руки Полынцева жили как бы сами по себе, делая привычную работу, ловко обращаясь то к сосновым, то к кедровым кабанам, которые под пилами визжали как живые, недорезанные. Руки привычно делали что-то своё: управлялись с автоматом для заточки пил, сноровисто и привычно обслуживали станок для аккуратной оцилиндровки брёвен. А мысли Полынцева – неумолимые, неумолимые и неостановимые – заняты своей работой.

И вот что заметил Полынцев, давно и с удовольствием заметил: в этой гулкой промышленной зоне, где руки вечно заняты работой, мысли не так докучали, не допекали. Мысли тут как будто фильтровались при помощи работы, освещались. А если точнее, честнее сказать, – мысли день за днём отуплялись, теряя убойную силу и скорость; примерно то же самое происходит с пулей, которая устала на излёте. Несколько лет колонии строгого режима изрядно поломали «светлого князя в потёмках» – так его иногда называли. Уже не молодой, но физически ещё крепкий, выносливый, он поломался – прежде всего – изнутри. Хотя и снаружи не уцелел. Годы лагерной жизни научили его работать на пилораме, взамен отобравши три пальца на правой руке и два с половиной на левой – под пилу угодили. Кого-то другого такая потеря наверняка опечалила бы, а «светлейший князь в потёмках» возрадовался непонятно чему.

– Ну, слава тебе, господи! – пробормотал он, перекрестившись культией, обмотанной бинтами, ржавыми от крови. – Наконец-то отмучился, избавился от светлой темени.

– И что это за свет, и что за тьма? – спросили те, кто находился рядом.

– Это вот здесь – это в темени! – Полынцев показал культией на своё лысоватое темя. – Теперь эту светлую темень из башки на бумагу доставать будет нечем. Я не левша. Не суждено мне блоху подковать.

После того несчастного случая Полынцева перевели в другую, специализированную зону – для инвалидов.

Глава 25

Архангельская область, Онежское озеро – эти места Русского Севера стали для него – родней родного и никуда отсюда уезжать не хотелось. После выхода на свободу – на поселение, точнее говоря, седобородый Поликарлович обосновался в таёжном глухом уголке. Стал работать на «пилодраме» – так он пилораму называл после того, как случилась кровавая драма с потерянными пальцами. Пилорамное дело давно стало привычным, отработанным до автоматизма. Он принялся к машинной смазке, перемешанной с запахом свежих опилок, отдающих ароматом первоснежья. И только иногда, во время вынужденного простоя – электричество внезапно вырубалось – благоухание распиленного леса как-то слабо, смутно начинало волновать Полынцева, воскрешая в памяти забытые зелёные поляны, покрытые пожаром весенних первоцветов – там полыхали жарки, красовались марьины коренья, кукушкины слёзы и царские кудри. И неожиданно ярко вспоминалось, что именно здесь, на Русском Севере, он был с женою в пору своей влюблённости и где-то здесь они, похожие на Адама с Евой, совершили тот священный грех, в результате которого сынок родился.

Было это? Или он себе придумал такую сказку, чтобы веселее жить-бедовать в глухоманном уголке Русского Севера? Вроде как было. А может, придумал. Бог его знает, где свет, где потёмки...

С годами этот «светлый князь в потёмках» стал потихоньку чудить. Первое, что бросилось в глаза односельчанам – старик Поликарлович взялся воевать с колючей проволокой: где только приметит – обязательно кусочками остервенело перекусит в нескольких местах.

– Ты уже седой, – ворчал на него хозяин колючей проволоки, – вроде умным должен быть, а ты...

– Это верёвка дьявола! – объяснял Поликарлович. – Эта змея к нам приползла от американцев! А мы ведь люди русские... Не так ли, Ваня? Или Вася? Я забыл...

– Ага! – мрачновато соглашался Ваня-Вася. – Мы, бляха-муха, новые русские. Я только свой огород от скотины этой проволокой отгородил. А новый русский, морда плюский, он скоро колючку поставит на реки, на озёра, на моря. Не искупаться тебе, ни рыбку съесть, ни на хрен сесть. Как хочешь, так и живи.

– Ну, если хочешь, парень, если нравится...

– А если не хочу? Если не нравится?

Полынцев глазами сверкнул.

– Тогда берись за вилы, за топор.

– Да? – Парень усмехался. – Ты, кажется, попробовал? И что в итоге? Сколько отпыхтел?

– Не в этом дело, сокол. Дело в том, что каждая тварь должна знать: если он нагадил – придётся отвечать. А если мы будем сидеть вот так – по своим домам и огородам – нас передавят как цыплят. Нас обдерут как зайца-русака...

– Не обдерут, не надо паниковать.

– Уже ободрали, милоч. Картина нарисована. – Какая картина?

– «Грачи прилетели». Ваня-Вася отмахнулся.

– Да ладно... как прилетели, так и улетят...

– Ну, сиди, чаёк шмурыгай или самогонкой зубы прополаскивай, – с горечью отрезал Поликарлович. – Только ты, парнишка, досидишься до того, что выйдешь однажды во двор по нужде, а твой сортир уже не твой – прихватизировали.

– Пускай только попробуют! – Ваня-Вася расхохотался, показывая крепкие звероподобные зубы. – Я им на голову нас... Ха-ха-ха... Насморкаю...

И вдруг этот странный старик Поликарлович неожиданно прекратил перекусывать колючие проволоки. Мало того – он даже взялся нахваливать «верёвку дьявола».

– Это хорошо! – говорил он, потрясая убогонькой рукой. – Пускай знают наших! Плохо только то, что ты не можешь или не хочешь электричество подключить.

– Какое электричество? Куда? – недоумевал хозяин огорода.

– На проволоку, – тихо подсказывал старик, улыбочиво оглаживая бороду. – Это же мило дело. Двести двадцать вольт как дашь в отсталые районы – птичка сядет на хрен и зажарится. А если кто полезет – представляешь? – Культияпый кулак старика стучал по груди. – Вот я бы, например, полез... Ей богу! Меня ведь ни одна холера не берёт! Прямо беда! Зажился как тот вечный жид!

Чуждачества его уже зашкаливали за границу нормального разума. Только сумасшедший мог додуматься до такого: несколько лет назад чудило этот на «пилодраме» сколотил себе добротный гроб – доски взял без сучка, без задоринки.

Тёплыми весенними вечерами и летом старик Поликарлович спокойненько – с лицом усталого покойника – лежал в деревянной просторной домовине где-нибудь на задворках пило-рамы, смотрел на просторное небо, наблюдал за орлами, парящими в синеве, за облаками и тучами, проплывающими куда-то по своим дождевым, неотложным делам. Крепко сцепивши руки на груди, он всё о чём-то неотступно думал, думал; порою улыбался, а порой слеза катилась по щеке.

– Дед! И не страшно тебе? – брезгливо морщась на домовину, спрашивал какой-нибудь молодой сосед, по делам завернув на пилораму.

Улыбаясь, чужак отвечал словами какого-то церковного мудреца:

– Гроб страшен был прежде, а после того, как полежа́л во гробе Христос – он стал чер-тогом царским...

Бывало так, что ласковою летнею порой старик Поликарлович забывался в этом «царском чертоге», сладко задрёмывал, да так и оставался до утра – идти в свою халупу не хотелось. А на рассвете – с первым петухом – он опять звенел-гремел разводными и всякими другими разнокалиберными ключами, что-то подтягивал и что-то смазывал в железных суставах родимой своей «пилодрамы».

Только редко, очень редко доводилось ему спокойно поспать до утра.

Один и тот же сон преследовал его и заставлял просыпаться не в холодном поту – в ледяном. Даже рубаха будто примерзала к телу – с треском отдиралась от груди. «Господи! – Он крестился убогонькой рукой. – Да когда же ты примешь моё покаяние? Когда ты избавишь меня от этих кошмаров?»

Глава 26

Каждую ночь кошмарил его всё один и тот же страшный сон – история, случившаяся много лет назад.

Долго ли, коротко пришлось ему тогда таскаться по Петербургу, только всё же он отыскал то, что нужно. Это было высотное здание, черепушкой достающее до облаков, дом из категории элитных, престижных – стоял почти по центру Петербурга. Новенький, фигуристый, он нахально втиснулся между низкими домами-патриархами, вероятно, видевшими и Петра Великого, и восстание декабристов на Сенатской площади, и ужасы блокады во время Великой Отечественной. Несколько дней Полынцев – как терпеливый сыщик – следил за этим домом, за крайним подъездом, где жил паренёк с довольно странным именем – Антифик. «То ли это имечко, то ли собачье прозвище? – удивлённо думал сыщик. – Но ничего, разберёмся, кто Антифик, а кто Антихрист...»

Внимательная слежка за подъездом вскоре дала результаты.

Полынцев чётко знал теперь, когда Антифик покидает своё жильё, когда возвращается. Кое-что узнал он и о родителях.

Отец Антифика – стопудовый боров, респектабельный и деловой Вурдала Демонович, облачённый в тёмно-голубой костюм и светлую рубашу с галстуком, – разъезжал по городу на новом «Мерседесе». А кроме этого была ещё машина – просторный джип, который появлялся у подъезда по выходным.

Вся семья на джипе – три человека и две собака – уезжали куда-то за город, может быть, на дачу, может, просто на лужайку, на шашлыки. Причём Антифик иногда игнорировал эти поездки, то ли дела его держали в городе, то ли скучно было в компании предков.

Обычно отправлялись рано утром. «Жаворонки, мать их! – утрюмился Фёдор Поликарлович. – Я вам крылья пообломаю!»

Он терпеливо ждал, кусая ногти, выкуривая чёртову уйму папирос – отстрелянные гильзы «Беломора» белели под ногами и хрустели, когда он перетапывался. И вот однажды утром в просторный джип уселись одни только родители с собаками – сынок остался дома.

Сердцу жарко стало до того, что Полынцев рубашу расстегнул едва не до пупа, но тут же спохватился – привлечёт внимание, подумают, что пьяный.

«Всё! – Он зубами скрипнул. – Лучшего момента не придумать!»

Но не так-то просто оказалось проникнуть в подъезд – этого Полынцев не учёл. Первое препятствие было незначительным, а всё-таки пришлось поволноваться, покурить возле «бронированной» двери подъезда, оснащённого кодовым замком и домофоном. Можно было, конечно, набрать номер квартиры, но где гарантия, что не вспугнёт проклятого Антифика, даже если представится электриком или сантехником? Гарантии нет. Поэтому Полынцев опять смолил проклятый «Беломор», ногти грыз и ждал, не мог дожидаться, когда же, наконец-то, кто-нибудь из «живодёров» – так называл он любителей животных – на поводке поведёт прогуливать своего любимчика. А «живодёров» этих в современных городах более чем предостаточно – это он знал.

Над городом занималось серенькое утро – полоска зари киноварью проступила на восточной стороне. Голуби заплескали крыльями над крышами. Туман, приподнимая паруса, отчаливал от многочисленных каналов – драные лохмотья проплывали между деревьями и пропадали, рассыпаясь мелким бисером.

Какая-то женщина с девочкой за руку прошли неподалёку по тротуару – и сердце будто на иголку напоролось, одновременно с болью обжигаясь нежностью; девчушка была похожа на дочь, или уж так показалось – призрак дочери ходил за ним повсюду.

«Щас постучу в окошко на первом этаже, пускай откроют!» – подумал он, с трудом заставляя себя не делать этого.

Во рту уже от табака настолько сухо стало и шершаво – точно песку пожевал. А железная тяжёлая дверюга перед ним по-прежнему не открывалась, точно её изнутри заварили намертво, чтобы другим каким-то входом пользоваться.

И всё-таки дождался он «милых живодёров». Из-за двери то и дело стали выходить жильцы, державшие на поводке причёсанную таксу, ухоженного мопса, шпица, спаниеля, кавказскую овчарку с глазами людоеда.

В общем, эта проблема была решена – он очутился в подъезде. Дух перевёл. Осмотрелся. Чистенько, уютно, только стены почирканы проворно-шаловливыми ручонками грамотеев.

Лифт оказался новый – бесшумно-скоростной. Полынцев даже растерялся, когда вышел на площадку. «Что? Приехали?» Он постоял в тишине, отчётливо ощущая сердце, булыжником забившееся где-то под ребром. Хотел перекурить, чтобы успокоиться, но тут же осознал, что этого делать не следует – время дорого.

Собирая губы в тугой сухой пучок, Полынцев подошёл к массивной металлической двери. Руки неожиданно вспотели. Он вытер ладони о плащ, постоял на лестничной площадке. Позвонил.

За дверью – какое-то время – царила тишина.

«Никого? – мелькнуло в голове. – А может, он раньше на дачу уехал? Вчера, например...»

Испытывая странное чувство облегчения – ну, не получилось, так не получилось! – Фёдор Поликарлович собрался уходить, но кто-то заскрежетал, заскрипел задвижками с той стороны. Железная чёрная челюсть массивной двери приоткрылась – стальными зубами сверкнула крупнозернистая предохранительная цепь.

– Вам кого? – Голос неокрепший, но уже сажающийся на грубые басы.

Полынцев покашлял.

– Мне бы родителей... Поди, позови...

– Их нету. А что вы хотели?

– Бандероль. Тут надо расписаться.

– Так вы с почты?

– Да. Оттуда...

Секунды две поколебавшись, подросток цепочку скинул с двери.

– Давайте. Где бандероль?

Не спеша, стараясь не вспугнуть подростка, «почтальон» вошёл в коридор. Дверь закрыл за собой – щёлкнул затвор английского замка. Мельком глянув по сторонам, он заговорил дрожащими губами:

– А ты, значит, Антифик? Или Антихрист? Как правильно? Глаза подростка насторожились.

– Где бандероль? – Он сделал шаг назад. – Давайте, а то некогда...

– Что говоришь? Ах, да! Бандероль! – Полынцев порылся в карманах и вытащил цветной пакетик, на каждом углу продававшийся под видом курительных смесей или невинных благовоний. – Вот бандероль тебе. От сатаны. От самого Люцифера. Не знаешь такого?

– Вы ошиблись адресом! – Паренёк насупился. – Идите, пока я родителей не разбудил!

– А ты поди и разбуди, разбуди папашу своего... – Полынцев погрозил указательным пальцем. – У нас, молодой человек, имеются достоверные сведения, что папашенька твой, Вурдала Демонович, давно и прочно связан с Люцифером.

Папаша занимается оптовыми поставками вот этого дерьма.

Ты разве не в курсе? Нет? Или папашу продавать не хочешь? Да мне это без разницы теперь. Бери. Кури.

Антифик нахмурился.

- С чего это вдруг? – Голос у юноши сорвался на фальцет. – Я не буду... Я не курю...
- Только не надо мне пудрить мозги.

Глаза паренька заюлили. Он посмотрел на трубку телефона. – Ну, допустим, курю, только вам-то что? Какое дело?

- Самое прямое. Держи. Кури, сказал.
- Опуская глаза, Антифик руки за спину спрятал. Прыщеватые щеки его заалели.
- Я не буду.
- Будешь. – Я не хочу.
- Надо, милый, надо!

– Иди ты... – Зубы подростка ожесточенно оскалились, напоминая страшную улыбку вурдалака, напившегося крови – так Полынцев подумал в тот миг, потому что не знал дикой моды среди молодёжи: у паренька были разукрашенные зубы – серебряные грилзы с золотым напылением.

Фёдор Поликарлович на несколько мгновений растерялся, – никогда ещё не видел улыбку вурдалака.

- А ну, пошли! – Полынцев схватил его за шиворот. – Где твоя комната?
- А вам какая разница?
- Да чёрт с ней! – Он заглянул в просторный зал. – Давай сюда. Значит, не будешь курить? Или всё же затынешься?

- Нет. Не буду.
- Незванный гость развёл руками.

- Ну, значит, придётся тебе прыгать на трезвую голову.
- Куда это прыгать? Зачем?

Антифик хотел, было, в прихожую рвануться – на площадку, но Полынцев опередил. Крепко схвативши за руку, он заволок парнишку обратно в зал. Распахнул широкое окно.

Утренняя свежесть в комнату нахлынула, ветерок зашелестел газетой, лежавшей на столе.

– Семнадцатый этаж? Элитное жильё! – Полынцев удовлетворённо хмыкнул. – Ну, это даже выше всех мечтаний. Ты в армии, конечно, не служил? Родители отмазали, да? Есть такая хорошая мазь... Правда, очень дорогая, но мы ведь за ценой не постоим. Что молчишь? Не служил? С парашюта не прыгал?

- Не прыгал.
- Ну, тогда объясняю. – Станный гость отпустил его руку, посмотрел в холодное небо за окном и стал городить околесицу: – Если не открылся основной – дёрнешь за колечко запасного. Понял? Оно вот здесь, на брюхе...

– Какого запасного? – Антифик попятился от окна. – Уходите! Я в милицию буду звонить!

– А может, лучше в скорую? – Полынцев зверовато ослабил, ухватив паренька за грудки. – Ах ты, сучок! И ты ещё милицией грозишь?

Лицо паренька исказилось, задрожавшие губы раздвинулись. И опять «улыбка вурдалака» промелькнула – разноцветно разрисованные зубы.

- Что вам надо от меня? – стал канючить паренёк, вытирая под носом.

Засунув дрожащую руку за пазуху, Полынцев достал фотографию, подмятую на верхнем уголке.

- Знакомо? Ну? Чего молчишь?
- Не мигая, паренёк уставился на лицо миловидной дивчины.
- Знакомо, – прошептал дрожащими губами.
- Раздувая широкие ноздри, Полынцев продолжал:
- Ты ей дал попробовать? Вот эту дурь... Я спрашиваю: ты?
- Ну, не я бы, так другой кто-нибудь...

– Повторяю вопрос: ты ей дал?

– Ну, я...

Странный гость помолчал.

Часы на стене в тишине равномерно постукивали секундной стрелкой.

– Нравилась она тебе?

Щёки паренька залил румянец.

– Нравилась.

Непрощеный гость задышал тяжело и прерывисто, будто в гору полез.

– Любил, наверно? Говори!

– Да... – В глазу паренька засверкала слеза.

– Ну, вот! – Полынцев криво улыбнулся. – Теперь повенчаются! Все браки происходят на небесах!.. Давай, кури, Антихрист! Кури, подонок!

Юноша захныкал, глядя на фотографию.

– Дяденька! – пролепетал он, размазывая слёзы. – Я больше не буду!

Полынцев покачал головой в знак согласия и прошептал: – А больше и не надо. Всё. У меня второй ведь дочки нет. – И вдруг опять он во всё горло закричал: – Кури, Антихрист! Кури, скотина! Кури, ублюдок!..

Паренёк ещё раз попытался выскочить из комнаты и нарвался на чудовищный кулак – будто чугунное ядро в лицо попало. Широко взмахнув руками, Антифик отлетел на диван, задребезжавший пружинами. Посидел, покашлял, вытирая разбитые губы. От боли и отчаянья он уже не понимал, что происходит. Сплёвывая сукровицу на пол, на дорогой ковёр, он поднялся, начал рыться в каком-то ящичке, богато украшенном замысловатой резьбой. Там хранились трубки – целый набор для курительных смесей.

Тонкие пальцы, не знающие серьёзной работы, мелко дрожали, когда он заряжал фигуристую трубку – крошки «безобидных благовоний» падали на рубаху, на пол.

Зажигалка раза три вхолостую чиркнула, выскребая синеватые искры. Юноша отбросил зажигалку – спички взял.

После двух-трёх затяжек глаза его неожиданно преобразились. Дуря от «невинных благовоний», Антифик повеселел. Вскидывая голову, дерзко посмотрел на гостя и, закружившись по комнате, расхохотался так, что Полынцеву захотелось уши заткнуть.

– Балдеж! – прикрывая глаза, прошептал паренёк. – Красота для тех, кто понимает!

С каждой секундой всё больше бледнея, пьянея, он терял равновесие – зацепил рукою и вдребезги разбил дорогую хрустальную вазу, стоящую на столе. Опрокинул деревянный стул с фигурной спинкой, с ножками из морёного красного дуба. Полусумасшедшие глаза его дико и отчаянно блестели.

Выпадая из реального времени, юноша стал лихорадочно куда-то собираться: белую рубаху вынул из комода, брюки, но тут же побросал всё это на пол и опять, самозабвенно присосавшись к трубке, расхохотался – кровавая слюна стеклярусными нитками, подрагивая, медленно стекала на подбородок. Потом, откинув пустую трубку, Антифик закружился белкой в колесе, хватаясь за шифоньер, за шторы – тонкая материя затрещала под потолком и порвалась. А вслед за тем он стал ногтями, точно когтями зверя, царапать цветочки на обоях – на стенку попытался влезть. Упал, затылком едва не ударившись, об угол стола. Сидя на полу, пространно ухмыляясь, Антифик плюнул перед собой.

– Пошёл отсюда на... – Он замахал руками, отбиваясь от наваждения. – Пошёл, гуляй по Питерской! И я сейчас пойду...

Антифик неожиданно вскочил – как на пружинах. Остановившись около открытого окна, тяжело дыша, как загнанный рысак, он помотал гнедой, всклокоченною гривой. Разорвал рубаху возле горла – отлетевшая пуговка под ногами запрыгала. И вдруг – непонятно откуда – в руке паренька затрепетало длинное тонкое лезвие. Развернувшись, он пошёл на Полынцева –

нож просвистел возле горла и поломался, наткнувшись на бетонную стенку. Отбросив рукоятку ножа, паренёк посмотрел в раскрытое окно и засмеялся каким-то тихим-тихим и глубоко счастливым смехом сумасшедшего.

И пошёл, пошёл в пространство синего окна, вознамерившись прыгнуть...

И тут с Полынцевым что-то случилось – будто кожу сдёрнули с него.

– Сынок! – закричал он, бросаясь наперерез. – Не надо! Поймав паренька на краю подоконника, он изумился той силе, какая теперь бушевала внутри худосочного юноши – с ним очень трудно было совладать. И тогда Полынцев поневоле пришлось ударить – почти на поражение. Антифик на минуту потерял сознание и только после этого Полынцев туго связал его, спеленал простынями и надёжно, туго прикрутил к батарее парового отопления – от греха подальше.

Утомлённый борьбою, взопревший от перенапряжения, Полынцев опустился на пол рядом с юношей, обнял его, взлохмаченные волосы пригладил на горячей голове.

Приходя в себя, Антифик замычал, вращая сумасшедшими глазами, готовыми выпрыгнуть из орбит.

– Прости, сынок, прости, – прошептал Полынцев. – Я сейчас вызову скорую. Всё будет хорошо, держись. Я сам не знаю, как я докатился... Прости дурака... Надо ехать в Москву, там закон принимали...

Он трубку снял и позвонил куда-то, с трудом попадая трясущимся пальцем на тёмные кнопки телефона.

– Какого чёрта? – закричали в трубку. – Набирай, как следует! Козёл!

Отстранённо посмотрев на трубку, Полынцев ещё раз набрал номер скорой, адрес назвал – хотя и не сразу, но всё-таки припомнил адрес. И после этого, не находя себе места, обхвативши голову руками, он покружил по комнате и подошёл к раскрытому окну. Не мигая, стеклянно глядел и глядел в разверзнутую пропасть, дышащую сладким холодком гибели. Глядел и думал: «Если долго всматриваться в бездну – бездна начинает всматриваться в тебя».

И вскоре он почувствовал, что это действительно так: медленно, неумолимо бездна начала звать, манить. Голова закружилась, в висках зазвенело. И через минуту-другую он понял, что готов поддаться этому властному зову – запредельному, никем другим не слышимому. И тогда пришло успокоение. Дыхание сделалось глубоким и ровным. Движения – плавными. Как-то очень осторожно, бережно он снял свой серый плащ, аккуратно сложил. Посмотрев на грязную обувь, хотел разуться, но передумал. Подставил табуретку, подстелил газетку. Ощущая слабость под коленками, медленно поднялся на подоконник. Постоял, обречённо глядя в небесную лазурь, где проплывали редкие обрывки облаков, похожие на силуэты ангелов с полупрозрачными крылышками. Облизнув пересохшие губы, он перекрестился, прежде чем отважиться на последний шаг.

...А в это время – или чуть пораньше – проворный джип, за рулём которого сидел Вурдала Демонович, проскочив по утренним улицам и проспектам, неожиданно затормозил – точно заблудился в раноутреннем тумане, наплывавшем от невской набережной. Резко развернувшись – так, что протекторы завизжали на мокром асфальте, – машина полетела обратном направлении. Войдя в подъезд, испытывая странное волнение, Вурдала Демонович несколько раз нажал на кнопку лифта – не мог дождаться.

Войдя в прихожую, он постоял, прислушиваясь, – было тихо, но как-то странно тихо и тревожно.

– Паршивый парнишка! – возмущённо выкрикнул отец. – Где ключи? Нам пришлось возвращаться. Ты всё ещё дрыхнешь?

Никто не ответил ему, только стоны почудились.

Вурдала Демонович – многопудовый боров, облаченный спортивный костюм, на несколько мгновений замер на пороге зала. Тёмные глаза его метнулись к поверженному сыну,

прикрученному к батарее; Полинцева, стоявшего на подоконнике за шторкой, он не заметил. Волосатые, сильные руки отца стали проворно развязывать простыни, плотно спеленавшие Антифика.

– Не надо, – испуганно крикнул Полинцев, продолжая стоять на подоконнике. – Не надо его развязывать!

Сердито сопя, Вурдала Демонович разорвал последнюю простыню и метнулся куда-то в сторону, выдвинул ящик, выхватил оружие – травматический пистолет, очень похожий на настоящий.

Странное дело: Полинцев, только что собиравшийся покончить с собой, разъерепенился от того, что его кто-то собирается убить.

Спрыгнув с подоконника, он изумился тому, как это вовремя произошло – резиновая пуля ударила в стекло, разлетевшееся крупными осколками. Стопудовый боров оказался силён до ужаса – легко сграбастал, руки закрутил Полинцеву. И вдруг почему-то железная хватка ослабла.

Антифик в это мгновение по комнате промчался будто вихорь – промчался и пропал в распахнутом окне...

– Нет! – срывая связки, Вурдала Демонович заревел протяжно и отчаянно: – Н-е-е-е-т! Отбросив оружие, он выбежал из квартиры.

Испытывая страшную усталость, Полинцев понуро постоял возле окна, посмотрел на серый кусок асфальта, где лежало распластанное тело, непривычно маленькое с этой большой высоты...

Папироса плясала в зубах, когда он курил, выходя из подъезда и плохо ощущая почву под ногами.

На улице уже стоял переполох...

Из переулка выворачивала «скорая помощь», пронзительной сиреной пугая птиц и редких утренних прохожих. Несколько зевак торчали около расплющенного тела, над которым жутко голосила мать, ставшая седой за несколько мгновений; она была в машине, когда Антифик прыгнул из окна и разбился прямо перед бампером – капли крови брызнули на лобовое стекло.

В эти минуты, когда во дворе началась неразбериха, паника, Фёдор Поликарлович запросто мог незаметно уйти, затеряться в толпе народа, спешившего на работу. Мог бы уехать на вокзал, в аэропорт, чтобы купить билет и навсегда исчезнуть – вычеркнуть себя из этой кошмарной истории. Кто его видел? Стопудовый боров? Ну, рассказал бы этот боров, описал бы его заурядную внешность – был бы составлен портрет, фоторобот, похожий на него примерно так же, как похожи Поликарлович и Папа Карлович. Да, можно было исчезнуть, но Полинцев сделал совсем другое.

С трудом переставляя соломенные ноги, дрожащие в коленках, попадая в тупики и натываясь на кучи мусора, он кое-как прошёл на улицу в районе Таврического дворца. Остановил первую попавшуюся машину.

– Давай, – пробормотал, – гони...

Водитель посмотрел на бледное лицо.

– А вам куда?

– В Кресты.

Шофёр задумался на несколько мгновений. – В Кресты? Нет, извините, это далеко.

– Ну, хорошо... – Бледный, аж слегка позеленевший пассажир откинулся на заднем сидении. – Гони до ближайшей милиции!..

Глава 27

Гордый и непреклонный – как батя по молодости – двадцатидвухлетний Васи́лir долго не ехал к отцу. Правая, горделиво вскинутая бровь его, доставшаяся в наследство от Фёдора Поликарловича, всякий раз возмущённо подрагивала, как только сын начинал размышлять про отца. Нет, ну в самом деле! С какой это стати он туда припылит? И что он ему скажет? «Сколько лет, сколько зим! Я схожу в магазин! Отмечать будем горькую встречу! Говорить будем сладкую речу!» Так, что ли? Да нет, стоит ли бывшее ворошить? Оно давным-давно поросло таким быльём – ни прополоть, ни выжечь. Так он думал – угрюмо, настырно, ещё сильнее вскидывая правую, горделиво задранную бровь. Но вскоре – совершенно неожиданно – произошла переоценка ценностей.

Был день рожденья матери – Веры Васильевны. Собрали скромный стол, посредине которого полыхал букет – подарок сына. Тихо-мирно посидели за ужином, поговорили по душам – хорошо, тепло и нежно разговаривали после рюмки легкого винца. Слово за слово и Вера Васильевна сказала что-то такое, что заставило парня насторожиться.

– погоди! – сын изумлённо развёл руками. – Ты же говорила, он сам туда уехал? В эту Тмутаракань...

– Конечно, сам. – Мать разгладила складку на скатерти. – Сам. Только уже после отсидки.

– Не понял. А что за отсидка была? – Сынок, да откуда мне знать?

Парень пристально смотрел матери в глаза.

– А этот... Антифик...

– Да причём тут Антифик? – торопливо перебила мать, стряхивая крошки со стола. – Он давно уехал. Мне кто-то из соседей в подъезде говорил.

– Уехал, да. – Парень покачал лобастой головой. – Причём туда, откуда не возвращаются.

– Почему? – Вера Васильевна слегка покраснела. – Может, вернётся.

– Перестань! – сын поднялся, рюмку резко отодвинул – красное вино плеснулось кровью по белой скатерти. – Он же похоронен неподалёку от Насти! Ты что, не знала? Мам! Только не надо...

Вера Васильевна повинно склонила голову, изрядно припорошенную сединой.

– Знала. Не хотела душу бередить. – Кому?

– Тебе, сынок.

В тишине было слышно, как белый треугольный лепесток, отделившись от подарочного букета, медленно, будто бы нехотя, проплыл над столом и упал на свежeweымытый пол.

– Давай договоримся, мам... – Васи́лir обнял её, поцеловал в макушку с серебряным пробором. – О своей душе теперь я сам буду заботиться.

– Как скажешь, сынок.

– А вот так и скажу: собирайся! Поедем!

Слегка изменившись в лице, Вера Васильевна даже отпрянула от стола.

– Да ты что? – Большие светло-изумрудные глаза её сделались панически огромными. – Нет, нет! Сынок, ты что? Я никуда не поеду! Что было – быльём поросло.

– Прополку нужно делать, чтоб не зарастало! – улыбчиво ответил сын.

Из коротких, скупых рассказов матери парень знал, что его задумали, чтоб не сказать, зачали где-то в колдовских лесах Карелии, на берегах величавых озёр. Вот почему его время от времени так неодолимо тянуло в сторону Русского Севера. Он долго не знал, почему его тянет туда, и только тогда, когда мать рассказала о Петрозаводске, о Кижях, о Ладоге и Онежском озере, парень понял секрет своей тяги и потаённой любви к Русскому Северу.

Глава 28

Внезапно – как это опять же отец любил делать когда-то – Василир купил билет и полетел в таёжную глухомань. Эта внезапность была продиктована озарением, ударившим как молния среди ясного неба: «Мать ему наговорила про меня, про то, что я хотел башку Антифику свернуть... – думал парень, уже в самолёте, устремившимся к Русскому Северу. – Может быть, он ничего бы и не сделал, если б я поменьше языком болтал. Я же помню, как он говорил: не надо, мол, парень, не надо, жизнь всё расставит по местам. А я тогда ему: да ничего она не расставит, пока сам не возьмёшься... Ну, вот батя и взялся, чтобы мне, дураку, не досталось...»

Душа Василира постепенно стала наполняться добрым светлым чувством в отношении отца. Вспоминались его редкие приезды, подарки, прогулки вдоль Невы – они все вместе выходили в город: мать, отец, Настёна и Василир. Вспоминались разговоры, шутки-прибаутки и загадки. И тут, самолёте, он вспомнил простую и в то же время уникальную загадку, которую однажды загадал отец – это касалось нового слова. И вот теперь, поддаваясь странному азарту, парень внезапно спросил у мимо проходящей стюардессы:

– Девушка! А кто придумал слово «самолёт»? Остановившись, стюардесса обалдело посмотрела на пассажира. Ей, как впрочем, довольно многим, казалось, что это слово никто не придумывал, оно всегда существовало.

– Не знаю. – Стюардесса жеманно улыбнулась. – Может, Гагарин? Или конструктор Туполев?

– А вот и нет! – победоносно воскликнул пассажир. – Слово «самолёт» придумал поэт Игорь Северянин. А раньше говорили – аэроплан.

– Просветили! Спасибо! – Стюардесса сделала шутливый книксен. – С меня шоколадка.

– Нет, мадам! С вас пузырь! – серьёзно и строго сказал Василир и тут же расхохотался так, что рядом спавший дядя испуганно вскинул всклокоченную голову с оловянными-мутными глазами.

Василир ещё не знал, но уже догадывался: в нём начинала искриться, играть и выкомуривать отцовская кровь – примерно так по молодости вёл себя отец: шутил, хохмил и запросто с народом разговаривал, непринуждённо чувствуя себя самолётах, в поездах, на кораблях...

Рано утром Василир оказался в тихом, сонном городе – самолёт приземлился на мягкие туманные перины, из которых желтыми пушинками светились посадочные огоньки.

Потом на такси он домчался до паромной переправы и мог бы с последним паромом – под вечер – оказаться на месте.

Но бородатый паромщик – человек великого душевного размаха – запил, собака, и с пьяных глаз так умудрился посадить пустой паром на мель, что это допотопное судёнышко едва не опрокинулось. И покуда пришли катера – два речных замызганных трудяги – небеса потемнели; время было упущено и людям пришлось ночевать в небольшой неказистой гостинице на левом берегу.

Мужики в гостинице, чтоб время скоротать, быстренько сообразили насчёт выпить и закусить. Василира пригласили, но он отказался от выпивки, а просто так, из интереса посидел за столом и послушал, о чём говорят.

И неожиданно для себя много интересного услышал про отца, которого тут называли Папа Карлыч или просто Поликарлыч.

– Вот когда Поликарлыч паромщиком был, не допускал такого безобразия.

– А когда он работал паромщиком?

– А в первые годы, как только пришёл на поселение.

– Говорят, по серьёзной статье отпыхтел?

– Кто его знает. Я другое слышал: Папа Карлович там не при делах. Ну, дал кому-то в зубы за здорово живёшь, а тот с перепугу в окно сиганул. А ему накрутили за всё про всё. Сам, что ли, не знаешь, как это бывает?

– А теперь он, говорят, чудеса вытворяет из дерева? – Мастерюга. Без рук, без ног, а рисовать умеет.

Глава 29

Петухи по-деревенски звонко и задорно разголосились утром, когда закончили ремонт паромы. Солнце заиграло красным плавником, выплывая откуда-то из туманной воды, из-за леса. Народ из гостиницы, ворча и зевая, подтянулся пологому, туманцем подёрнутому берегу. И только тогда – пропахавши поперёк течения – ржавая посуда причалила высокому, обрывистому правобережью, и народ стал выгружаться, ругая протрезвевшего паромщика и похваливая новый солнечный денёк, раззолотившийся над рекой, над горами и долами, над которыми величаво катились белые струги редких облаков.

Всё было здесь хорошо, и только одно ненадолго омрачило душу Василира. Возле магазина, современной избушки на курьих ножках, какой-то черномазый горбоносый человек горячо и резко разговаривал с молодой русоволосой женщиной. Мало того, горбоносый начал руками размахивать.

Василир понимал – это дело, быть может, семейное; сам чёрт не разберёт и не развяжет узел, в который бывают завязаны семейные отношения. И всё же он не утерпел – такой характер.

– Джигит! – спокойно сказал Василир, приближаясь. – Не обижай мою сестрёнку. Не советую.

Глаза у горбоносого сверкнули куриными белками, он молниеносно посмотрел на женщину, затем на этого неожиданно и негаданно объявившегося брата.

– Иды своей дорогой, – с тяжёлым акцентом произнес горбоносый.

Названный брат стоял, играя желваками.

– А может, лучше ты пойдёшь своей дорогой – в сторону прекрасного Кавказа...

Глаза джигита вспыхнули – он сделал шаг навстречу.

И взгляды их – острые, непримиримые – скрестились как шпаги. И через несколько секунд сверкающая шпага джигита едва приметно дрогнула, а затем согнулась – чёрные глаза на несколько мгновений спрятались под густыми ресницами. Непринуждённо улыбнувшись русоволосой женщине, Василир опять назвал её сестрёнкой и приказал тоном старшего брата, чтобы она уходила домой. И после этого названный брат – демонстративно, вразвалку – направился дальше, высокого берега любясь просторами Русского Севера. Навстречу парню шёл беспечный сельский житель, потухшую папироску жевал, как макаронину.

– Извините, – сказал Василир, прижимая руку к сердцу, – не подскажите, где тут проживает человек, который из дерева чуда вытворяет?

– А спичек нету? Жалко. – Сельский житель отбросил «макаронину» под ноги. – Чудеса, говоришь? Это надо тебе вон туда. Там у нас пилодрама...

– Что там у вас? – удивился приезжий. – Пилодрама? Я не ослышался?

– А ты лучше спроси у пилотрамщика, – посоветовал сельчанин, приподнимая кепку над лысой головой, так ярко рассиявшейся на солнце, будто нимб скрывался под фуражкой.

Глава 30

Косматые заросли дикой черёмухи, жирной крапивы, полыни и татарника, и всякую другую дичь несусветную полюбил почему-то один заморский развесёлый соловей.

А может, даже не один, чёрт его знает – может, они там на троих соображали; так пели, стервецы, так рассыпались под луной по вечерам, по ночам и на утренней зорьке – один так петь не мог, если он, конечно, не соловьиный гений...

Василир услышал трели соловья, когда подходил к загадочной «пилодраме», обыкновенной дощатой хибаре. Он постоял среди просторного двора, где штабелями сложен свежий осиновый лемех – специальные плашки, в виде кольчуги покрывающие купола церквей на Русском Севере. Виднелись могучие свежие балки для будущей колокольни; для этой цели выбирался, как правило, железоподобный листвяк, на своём горбу способный держать многотонные тяжести. И другого деревянного добра тут много: заготовки для озёрных баркасов; широкие потеси – вёсла; шпангоуты из еловых веток. На старом цинковом листе виднелись горелые щепки – тут готовили варево из гудрона и отработанного машинного масла, так называемой отработки. Около забора светлыми сугробами взгорбались недавно появившиеся опилки. А в старых, золотистых опилках, похожих на просо, деловито копошились куры. Цветистый петух – в красной рубаше, в белых панталонах – гусаром ходил, хорохорился, утопая в опилках по самые шпоры.

Всё это Василир увидел одномохом – за несколько секунд. Не увидел он только самого главного – хозяина «пилодрамы».

Потоптавшись по опилкам, по щепкам, белоснежно хрустящим, парень обошёл кругом дощатого строения. Увидел крестовину – мачту для катера или яхты. И тут же – под зелёным навесом двух раскидистых сосен – на постаменте из округлых золотистых чурок стоял добротный, хорошо оструганный гроб.

Сердце парня дрогнуло, когда он подошёл поближе и увидел бородатого седого человека – спокойно лежал в домовине, блаженно покуривал.

– Здорово, батя! – грубовато поприветствовал Василир. – Хорошо устроился... на пилодраме...

– Да, я теперь тут пило-драматург, – ответил старик, безмятежно блуждая глазами по тучам и облакам. – Дождичек, однако, собирается. Это хорошо. Давно пора.

– Давно! – многозначительно согласился парень. – Ну, поднимайся, чего ты?

– Да так чего-то, малость притомился... – По-прежнему не глядя на гостя, старик приподнялся, пепелок с папиросы стряхнул. – А ты кто будешь, милый? Никак заказчик?

– Угадал! – невесело откликнулся Василир, поначалу посмотрев на руки отца, а потом на его лицо, измождённое, дублёное дождями и ветрами, и словно бы изрубленное давними глубокими морщинами, утопающими в белой бороде.

– Что так смотришь, парень? Не вглядывайся в бездну...

Лучше давай бумаги покажи.

– Какие бумаги?

Покряхтывая, старик довольно ловко покинул домовину.

Постоял, поцарапал то место, где когда-то ершисто чернела горделиво вскинутая бровь – теперь это место белело давнишним полукруглым шрамом.

– А как ты хочешь, паря? Дружба дружбой, знаешь, а табачок-то врозь. Я позавчера такой хороший тёс отдал, да не тому, кому надо. Не посмотрел бумаги, старый хрыч.

Парень засмеялся – звонко и легко. И чем больше старик присматривался, тем больше ему нравился этот незнакомец.

Понравилась его недюжинная статья, его твёрдый голос, от которого сразу же и соловей в черёмухе замолк, и воробьи с ближайших кустов разлетелись. Понравилось, как парень смотрит – спокойно, непреклонно. Что-то хозяйское, основательно-прочное угадывалось во всём его облике – это подкупало и располагало.

Они прошли в тесовую каморку, пропахшую тёплыми досками, на которых червонным золотом горели пятаки соструганных сучков. Здесь было полным-полно всевозможных деревянных поделок. Под потолком раскрылатилась птица сирий, чуть заметно покачиваясь в потоках воздуха. В углу на полу стоял тёмно-серый пенёк, из которого уже выглядывала хитрая морда лешего или домового. На подоконнике, обласканная солнцем, сияла самодельная икона, немного недорисованная. Деревянный, под бронзу покрашенный Пушкин сурово глядел с верхней полки. Достоевский, мало ещё похожий на себя, готовился выйти из какого-то могучего дерева, словно бы расколотого молнией...

Осмотревшись в этой странной мастерской, парень вжикнул молнией на сумке. Поставил поллитровку на грубый стол. Расписная бабочка, сидевшая поодаль, заполошно закружилась над столом и улетела в открытую дверь.

– Давай, батя! За встречу! Где посуда?

Голос парня, тон его показались какими-то странными – заказчики иначе говорят.

Полынцев несколько секунд смотрел на молодого бравого пришельца. Правая, горделиво вскинутая бровь его, широкие скулы чалдона – во всём этом было что-то знакомое.

– За встречу, говоришь? Ну, это можно... Гора с горой не сходится, а человек... – Поликарпыч замер, снова пристально разглядывая гостя. – Заказчик! А ты в каком районе проживаешь?

– В районе сердца.

– Ишь ты, язви! Красиво говоришь. Как я по молодости.

– Гены! – Парень улыбнулся. – Куда от них денешься? – Гена? – Старик убогонькой рукой поцарапал седой загривок. – Нет, не помню. Что за Гена? А фамилия?

Парень посмотрел на куст полыни, роскошно разросшийся возле окна. Промолчал и опять улыбнулся.

– Давай, батя, за встречу, а может, сразу даже и за прощание...

Пилорамщик на мгновение замер – чуть стаканы не выронил.

– Это как тебя прикажешь понимать?

– А тебе здесь не надоело? Нет? – Парень опять осмотрел закуток. – Может, пора сворачивать эту артель?

– Да ты что, сынок? Я тока развернулся! Заказчики пошли гулом. Даже из Финляндии бывают... А ты, сынок, откуда? Извиняюсь...

– Я из Питера, батя. – Парень потрогал сирина, висящего на нитке под потолком. – Специально прилетел посмотреть на эти чудные творенья.

– Ого, – вяло удивился чудотворец, – слух обо мне пройдёт по всей Руси великой...

Над головами ударил гром и в ответ ему задорно звякнули два гранёных, пока что не наполненных стакана – сами собою чокнулись на дощатом грубо-струганном столе. И вслед за этим короткий тёплый дождь застучал по крыше мягкими подушечками пальцев, словно бы что-то выискивал там, осторожно ощупывал...

– Ну, что, отец? За встречу! Подставляй!

– Да я, сынок, теперь не потребляю, разве только что вот эту божью водичку... – Старик пророчно вышел и поднял пустой стакан под небеса. – Во, гляди, как хорошо накапало!

Как по заказу! А мне теперь много не надо. По двадцать капель на каждый глаз – и я готов плясать и петь...

– Чудной ты, батя, – с грустной улыбкой сказал Василир.

Старик покачал головой и вздохнул, понуро глядя в стакан с дождевой водой.

– Я не чудной, сынок, я так себе... – Он посмотрел на самодельную икону и добавил: – Господь не ищет от нас безгрешия, он ищет от нас покаяния.

* * *

Встреча эта свершилась посередине погожего лета, когда всё кругом растёт, цветёт и просит поднебесной влаги, после которой по-над землёй пластаются туманы, блуждают опьяняющие запахи тайги, ароматы лугов и полян, пылающих огнями голубых, шафрановых и розовых цветов, стоящих по горло в сенокосной траве. Хорошо такими днями по земле шагать, хорошо полной грудью дышать, даже если ты прекрасно понимаешь: воздуху тебе отпущено уже совсем немного под этим ненаглядным русским небом, где после дождя так роскошно вспыхивают радостные радуги – и от края и до края горизонта разливается никем не изречённая божья благодать.

Человеку хотелось любви

1

Белая ночь распласталась над бескрайней арктической тундрой, озаряя самые дальние углы. Солнце, ввечеру коснувшись горизонта, замерло там до утра, точно задремало с открытыми глазами, слабо согревая Ледовитый океан и вечную мерзлоту.

Конец июля. Устье Лены-реки забито плотами – не протолкнуться. Кондовые, сосново-кедровые туши, крепко-накрепко связанные в верховьях таёжных рек, протащившись длинной дорогой, пришвартовались к побережью бухты моря Лаптевых, к полумёртвому арктическому берегу с таинственным названием Тикси – «место встреч», в переводе с якутского.

Скрипалёву это место нравилось – горделивый, обнаженный мыс, круто обломившийся над океаном. Можно встать на самой кромке и смотреть за горизонт – как будто на ту сторону Земли. А ещё можно руки раскинуть, воображая себя вольной птицей; Пашку Скрипалёва не случайно сызмальства прозвали Пашка-Пташка или просто Птаха. И не случайно любимое словечко у него – летаем.

По характеру Птаха – безнадёжный мечтатель. Ему уже тридцать, а сердце всё ещё не загубело – сердце романтического юноши. Каждый раз, когда он с могучего плота сходил на берег и продирался по грязи в посёлок Тикси, сердце жарко всплёскивалось – была мечта, надежда, что это «место встреч» однажды одарит его долгожданной любовью, бывают же на свете чудеса.

Густой гудок разлился по-над бухтой, заставляя Скрипалёва вздрогнуть и остановиться. Оглянувшись, он увидел сухогруз, идущий под советским флагом – неуклюже втискивался в бухту. Наблюдая, как причаливает сухогруз, навьюченный контейнерами, Птаха подумал: «Наши плоты – ерунда. Вот на пароходе уйти в заграничку – другое дело!» Приятель из бригады плотогонов мимо проходил.

– Скрипаль! Ты что от коллектива отбиваешься?

– Успею, прибуду. – Он поправил непокорный чубчик соломенного цвета. – Иди, покуда водка не прокисла.

Сухогруз разволновал романтика-мечтателя. По деревянным настилам, где дремали чайки, не боявшиеся человека, Скрипалёв к воде спустился. Постоял, наблюдая, как пыхтят буксиры-толкачи, помогая причаливать пароходу. На высоком капитанском мостике виднелась фигура капитана, отдающего команды по громкой связи: «Подработать корму. Стоп. Ещё немного. Всё, спасибо. Вахта, закрепить концы».

Потрёпанный штормами сухогруз, поскрипывая кранцами, плотно прижался к причальной стенке. Стало тихо. Чайки над бухтой застонали, а через минуту-другую Скрипалёв неожиданно услышал где-то в каюте негромкий перезвон гитары.

– Что-то слышится родное в звонких песнях ямщика! – вслух подумал Пашка-Пташка, загораясь отчаянно-весёлыми глазами.

2

Степное село Привольное, где он родился, широко раскинуло дома и огороды по берегу медлительной реки, вобравшей в себя голубую громаду небес – даже в стакане или в графине вода играет поднебесной, еле уловимой голубоватинкой.

Приволья там не занимать – равнина разбежалась на сотню километров. День и ночь ветра свистели, песни протяжные пели в берёзах, шумели в полях золотистой пшеницы; разнотравье заплетали на лугах и поднимали пыль веретеном – серые столбы ходили призраками. А иногда ветра внезапно сатанели и в дикой буйной удали валили с ног деревья, ломали ветряные мельницы, порождая в людях страх и уважительное отношение к ветру. Достаточно сказать, что перед ветром даже ворота настежь раскрывали в сёлах и деревнях – чтобы не сорвал с петель.

Необъятная русская даль породила в нём и душу необъятную – не уместалась за пазухой; в драной рубашке частенько домой приходил, то с мальчишками схлестнётся, чтобы не трогали цветы на «его» территории, то с колхозным сторожем, который одно время голубей на мельнице повадился крошить из допотопного дробовика.

Детские годы у Пташки были по-своему интересны, но всё-таки мало отличались от жизни сверстников. Судьба его круто повернула, когда в село приехал учитель музыки – Станислав Мокеич Бубенцов, человек смиренный, с виду неприметный, даже скучный. Но стоило Бубенчику – так в школе окрестили – взять в руки инструмент, как тут же он преобразился: глаза горели, щёки розовели и начиналось таинство рождения то весёлой, то печальной музыки.

Бубенчик обнаружил у подростка отменный слух и необычные, «музыкальные пальцы» – и так и эдак гнулись, как резиновые.

Квартировал Мокеич за рекой в избушке у одной старушки.

– Приходи ко мне в гости, – пригласил он однажды. – Посидим, чайку попьем, за жизнь поговорим.

Пташка не сразу, но всё-таки насмелился, пришёл. В избушке у старушки хранилась балалайка – осталась от покойного хозяина. И Станислав Мокеич неожиданно выдал такие частушки – мальчуган со смеху чуть под лавку не закатился. Учитель вдохновенно «рвал подмётки на ходу», поскольку был отличным импровизатором.

Говорят, что я Бубенчик –
Волосы барашками!
Говорят, что Паша – птенчик.
Где же крылья Пташкины?

Ну и всякое другое в таком же духе. Пташка слушал и поражался, как простые, «смертные» слова становятся словами песенными. А через неделю, когда он снова пришёл к Бубенчику, урок был посерьёзнее: гармошка, народные русские песни. Так потихоньку, полегоньку парнишка пристрастился к музыке.

Родители купили Пташке инструмент, не особо веря в его таланты, но руководствуясь мудростью: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

Плакать, правда, всё-таки пришлось. Первая гитара запомнилась как первая любовь – ненаглядная, тайком целованная, с горькой судьбой.

Пашкин отец однажды привёл его с гитарой на деревенскую свадьбу – решил похвалиться талантами сына. Не привыкший выступать на публике, парнишка поначалу заартачился, но батя сумел уговорить. В шумном застолье – среди тарелок, стаканов и двухлитровых «снарядов», заряженных самогоном – Пташка старательно стал выщипывать весёлые мелодии, потом хмельные песни поддерживал своим сопровождением. Хорошо получалось, его нахваливали.

– Ты гляди, чо делает! Как будто пальцев на ручонке у него не пять, а все двадцать пять!

За столом посмеивались, обнимали смущённого музыканта.

Парамон Дубасов, первоклассный гармонист в недавнем прошлом, потерявший руку на лесоповале, едва не плакал от умиления.

– Смена подрастает! Эх, жиган! А ну-ка, рвани «Цыганочку»! я спляшу! – Дубасов шёл на круг, половицы кирзачами колотил, потел от усердия, хрипел и задыхался под конец, когда парнишка частил переборами так, что пальцы веером по грифу рассыпались.

– Ну, чертёнок! – Парамон подолом распушенной рубахи вытирал лицо, лоснящееся от пота. – Запарил рысака! А ну, давай «Подборную»! Сумеешь? Оторви!

И простодушный мальчуган «отрывал «Подборную», не обращая внимания на жутковато-жаркие глаза Дубасова – в них горела та любовь, про которую сказано: «от любви до ненависти – шаг». Потерявши левую руку, Дубасов правой своею в последнее время делал, кажется, только одно – водку дубасил стаканами, заливая обиду и злость на весь мир. Когда-то без его заливчатской тальянки никакое торжество в Привольном не обходилось. Сытно и весело жилось Парамону: дармовая выпивка через день да каждый день случалась, а на «закуску» иногда перепадала сдобная вдовушка или брошенка. А что теперь? Одни объёдки с барского стола. Кто из жалости звал однорукого, кто по привычке. Но звали всё реже и реже – Дубасов начинал донимать своими закидонами, когда пропускал лишний стаканчик.

– Жиган! – не попросил он, а потребовал, – дай-ка мне гитару! Я покажу вам, как надо играть.

Парнишка изумился.

– Играть? Одной рукою?

– А чо такого? – Парамона понесло по кочкам. – Паганини на одной струне играл! Погонял только так! А я одной рукою...

Дай сюда!

Рядом сидящий отец, тоже хлебнувший хмельного, снисходительно одёрнул:

– Сиди, игрок, не рыпайся. Ты своё отыграл. Дубасов глянул исподлобья. Засопел.

– А ты не прокурор – сажать меня.

– Ну и ты полегче на поворотах! Чего ты гитару лапаешь? Зачем людей смешить-то? Одной рукой сыграет он. Игрок.

– Сыграю! – уперся Парамон. – Давай поспорим!

Добродушный жених вилкой постучал по бутылке.

– Граждане! Товарищи! Ну, вы чего? Забыли, зачем пришли? И тут Парамон неожиданно резко поднялся и рукою взмахнул, опрокинув тарелку с салатом.

– Курвы! – закричал зубами, чёрными от курева. – Что вы понимаете в той музыке? Свинья в апельсинах, и та разбирается больше. Собрались тут! Свадьба у них. Да я невесту эту и мать её – ещё двумя руками на сеновале шупал!

Громила в косоворотке – старший брат жениха – поднялся, головой до лампочки достал.

– А ну, пойдём на сеновал. Я тебя пощупаю!

– Перестань! – попросили бабы за столом. – Ты чо, Парамона не знаешь?

– Первый раз вижу, – ответил громила, оседая на лавку. – И, надеюсь, последний. Уходи по добру, по здорову.

– И я тебя видел в гробу! – заявил Парамон. – И всю вашу свадьбу!

Народ загудел, оскорблённый. Дубасову кренделей во дворе надавали, но перед этим он умудрился – гитару у подростка выхватил и с размаху разбил на башке жениха.

Парнишка проплакал всю ночь, с горя готовый на струнах повеситься.

Бубенцов на другое утро философски утешал:

– Гитару купим, не это главное. Ты вот что запомни: люди не любят тех, кто ярче их самих. Каждому белому лебедю они хотели бы выдрать перья, чтобы он тоже сделался сереньким гадким утенком. И если ты случайно или с чьей-то помощью свернешь себе шею, они тебя станут жалеть, как сегодня жалеют того же Дубасова. Такова психология, друг мой. Но поддаваться не нужно. У тебя Божий дар и поднимаешься ты высоко, Пашка-Пташка, лишь бы крылышки не опалил. У нас ведь как бывает? Вырастает большое дерево, а тут и мол-

ния – как по заказу. Молния любит большие деревья. Запомни. А ещё запомни то, что сказал нам премудрый старик по фамилии Ницше: «Всё, что отняла у нас жизнь, возвращает нам музыка!» Странный был учитель, интересный. Жалко, что быстро покинул село. Скрипалёв нередко позднее вспоминал, как зимними глухими вечерами, когда метель заунывно играла на своих серебряных бесконечных струнах, они вдвоем подолгу оставались в тихом классе. Бубенчик «звенел и звенел» по-над ухом. Будто взрослому, рассказывал ему о жизни гениальных музыкантов, о тайнах Вселенной, о каких-то древних самобытных эллинах, исчезнувших с лица Земли. Рассказывал о древних русичах и показывал книгу с картинками, восславляющими старину, богатыри запомнились, красавица Валькирия, стоящая на поле битвы. А ещё запомнился великолепный «Северный орёл» – синеглазый, гордый человек, чем-то похожий на него, на Пашку. Интересно то, что «северный орёл» на картинке изображён в добротном полушубке, с топором, серебрящимся на плече – здорово похож на человека из Плотогонии, из той далёкой, сказочной страны, которую позднее придумает себе мечтательный парень.

3

Бригада плотогонов побросала пожитки в бараке и, возбуждённо гомоня, заторопилась к избушке на курьих ножках – ресторанчик местного пошиба: труба набекрень, угловое окно заколочено куском фанеры; на дощатой стене рядом с дверью мелом начертано: «К нему не зарастет народная тропа!» И это действительно так – твёрдая тропа натоптана хоть летом, хоть зимой.

Ресторанчик, будто пчелиный потревоженный улей, наполнился гулом.

– Занимай, ребята, лучшие места, пока с других плотов не подвалили!

– Мы первые! Другие тащатся в хвосте!

– Зато нам и досталось, первым-то...

– Да-да, хлебнули, так хлебнули! И ртом и ж...

– Кобели! – перебил женский голос. – А ну, не лайтесь!

– О! – Воскликнул бригадир Зиновий Зимоох. – Сто лет не слышал бабу! Наконец-то обласкала!

Плотогоны захохотали, рассаживаясь за деревянным, щербатым столом. Рассматривали скромное убранство. Ресторанчик так себе – сирота убогая. Цветные фотографии северных сияний – самая заметная достопримечательность.

Подошла официантка, только что «обласкавшая».

– Что будем заказывать? Зимоох оскалился.

– А сама не можешь догадаться?

– Водки, что ли? Скоко?

– Много.

– Не тяни кота за хвост.

– Кошечку, – поправил Зимоох и попытался погладить «хвост», прикрытый короткой юбкой.

Официантка неожиданно окрысилась.

– Ещё раз лапнешь – мужа позову.

– Ого! – удивился бригадир. – Мы уже замужем?

– Нет, мы вас, красивеньких таких, сидим, дожидаемся.

– Могла бы, ёлки, и подождать.

Презрительно фыркнув, официантка ушла, чтобы через минуту вернуться с казённым, холодным лицом – выпивку поставила, закуску.

– Тёплая встреча на Эльбе, – сказал Зимоох, по-хозяйски разливая по стаканам. – Хорошая баба. Я думал жениться.

Бригада зашумела над стаканами.

– Бугор! Мы сейчас ейного мужа найдём, башку отвернём – и женись, сколько хочешь!

Хохот грохнул за столом – и тут же затих. Бригада уставилась на бугра, который поднялся для торжественной речи.

Физиономия у бригадира крупная, круглая – точно по циркулю. Красная, цвета морёного дуба. Стакан в левой руке – почти не виден – как стограммовая рюмочка. А вот правая рука – увы, во время незапамятного шторма на реке брёвнами раздавленная правая кисть бригадира превратилась в клешню без ногтей – жутковато смотреть с непривычки.

– Ну, что, мужики? Со свиданьем! Слава богу, все живые, – зарокотал он, снимая помятую фуражку. – А то ведь как бывает? Всяко. Лес рубят – кепки летят... – Это была его излюбленная присказка; перед тем, как взять топор в тайге, он, снимая кепку, постоянно так приговаривал.

Плотогоны, выслушав «пламенную речь», с такою силой чокнулись – гранёные стаканы чуть не раскрошили. Через минуту-другую Зимоох опять налил, как на весах отмерил, изумляя точностью.

– Глаз-алмаз! – похвалили.

– Ерунда. – Зимоох отмахнулся «клешнёй». – Вот у дядьки моего был глаз, так глаз. Он одно время работал на огранке алмазов, а потом в тюрягу загремел. За что? А за то, что у него был глаз-алмаз.

– Пил, что ли, много?

– Нет, он не пил вообще. За ним другой грешок водился. Дядька левый глаз потерял на войне, вставил искусственный. Протез, короче. И вот когда он пришёл работать на огранку алмазов, так что придумал, чёрт кривой? Искусственный глаз вынимал, клал туда алмаз, потом вставлял протез и проходил спокойненько через проходную. Хотел себе счастливую старость обеспечить, а получил строгача восемь лет. Серьёзно говорю. Клешней клянусь.

Плотогоны заржали, кто откачнулся от стола, а кто, наоборот, грудью на стол навалился, кулаком колотя по столешнице.

Но бригада скоро упала духом – денег-то нет. Бригада приуныла, тоскливо глядя на пустые поллитровки, в которые уже забрались мухи – жужжали, обалдев от водочного духа. – Разве это выпивка? – Бригадир своей клешнёй без ногтей поцарапал кадык. – Издевательство над организмом.

Мужики согласно покачали разношёрстными головами. Сеня Часовщик, молодой плотогон с обожженным лицом, похожим на сосновую кору, умоляюще уставился на бригадира.

– Ну, и что будем делать, бугор? Когда вот они рассчитаются с нами?

– Над ними не каплет! – Зимоох, пуще прежнего раскрасневшийся мордастым «морёным дубом», по-волчьи сверкнул глазищами. – Хоть бери топор, багор и подламывай кассу!

Ругая конторских крыс, бригада горевала по поводу того, что деньги за перегон плотов можно будет получить только в Якутске.

– А где наша птичка? – вспомнил бригадир. – У Птахи должны быть бабки.

– Нет, бугор, – заверил Часовщик. – Он пустой. Гитару купил. Мореман какой-то загнал ему гитару. Там только что причалил сухогруз, идёт из загранки, а сюда завернул из-за неполадки дизеля.

– Ну? – Зимоох набычился, выдыхая белую дымную струю. – А гитара причём?

– Говорят, что после шторма под бортом сухогруза обнаружили корейский контейнер, цветной, герметичный. Ночная вахта зацепила краном, подняли на палубу, сбили пломбы да замки и поделили меж собой заморское добро, а пустой контейнер утопили.

– Молодцы. За морем телушка полушка, да рупь перевоз, – проворчал бригадир, натягивая кепку до бровей. – А я надеялся. Птаха всегда при деньгах.

За столом зашумели, обсуждая Пашкин поступок.

– Нашёл чо купить. Ладно, хоть не рояль.

4

Страна Плотогония или страна Плотогонь – так называл он дикие таёжные места на Ленских берегах, где приходилось трудиться. Неисправимый мечтатель, Птаха в последние годы жил как тот герой из русской сказки: иди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю что.

И в результате дорога привела его в сказочный лес, наполненный боролатыми берендеями, весёлыми и хмурыми лешаками, одетыми в телогрейки, в полушубки, в сапоги и унты. Эти берендеи – лесорубы – обитали в старых и новых избушках с небольшими оконцами, чтобы медведь не залез. Берендеи любили вино и водку, табак смолили так, что топоры и даже пилы висели в воздухе. Задорно матюгаясь, они в морозы неустомимо шастали по снеговью, не тронутому ни зверем, ни птицей. С утра и до вечера тайга перекликалась голосами лешаков и стонала под грубыми лапами. Бензопилами и топорами валили звенящие сосны, кудлатые кедровые и железно гремющий лиственничник – из этого добра затем плоты вязали. Рубили избушку на самом охвостье плота. Кусок звенящей жести приколачивали – пьедестал для огня. С нетерпением ждали весёлой поры, когда старый приятель-кулик прилетит из заморья и выведет весну из затворья. Река вспухала как беременная баба, синела от натуги, не в силах разродиться ледоходом, тогда приходилось делать «кесарево сечение»; взрывники появлялись в районе затворов – глыбы ледяного изумруда серебра тоннами взлетали в небеса, выпуская на вольную волю бешено вскипающую реку. И после этого на чистоводах начинали поскрипывать могучие туши плотов. Как деревянные мастодонты, как динозавры, вышедшие из дремучей тайги, – плоты потихоньку отваливали от берегов, устремляясь мордами на Север, пугая здешних русалок, водяных и возмущая Нептуна: кто там нарушил покой подводного царства, кто над головою солнце погасил?

Вот такая страна Плотогония существовала в воображении взрослого человека, имеющего сердце романтического юноши.

Страна Плотогония была, конечно, далеко не райским садом, однако Скрипалёв любил и почитал её. Дремучая, глухая Плотогония давала прибежище, деньги, а самое главное – ощущение воли. Не просто так давала, нет, приходилось батрачить, дай боже. Но Скрипалёв – трудяга, он умеет пахать, зарабатывать честным трудом, чтобы потом размашисто потратить несчастные эти бумажки.

Он бы не только гитару – целый оркестр купил бы, ничуть не сожалея о деньгах.

Уединившись после покупки инструмента, Птаха ощутил забытое волнение. Пригладив непокорный чубчик, бережно обнял гитару с женскими формами. Улыбнулся, облизнулся в предчувствии музыкального «вкусного блюда». Но после нескольких сложных пассажей огоньки в глазах погасли.

«Лажа! – Он посмотрел на руки. – Ну, что это? Клещи, а не пальцы. Какие к черту струны? Гвозди нужно дёргать такими пальцами!»

Продолжая подбирать аккорды замысловатой мелодии, Скрипалёв подумал: «Нет, пора покидать Плотогонию! Деньги получу, махну куда-нибудь, на черноморский берег, например. Хотя, ну их на фиг, эти берега! Лучше сынишку навестить, к деду наведаться в Соловьиную Балку».

Потихоньку, полегоньку он разыгрался, начал импровизировать на тему своей сердечной тоски и печали. А это значит – родина зазвенела в серебряных струнах.

Душа истосковалась по родимым раздольям, по запаху цветного разнотравья, среди которого ходят косари, ослепительно сверкая зеркалами литовок. Там свежие копны сейчас теремами поднялись в лугах, источая сладковато-угарный аромат. Берёзы на полянах свечками белеют. Избушка в Соловьиной Балке дремлет, пасека пчёлами жужжит. Боже, как там было

хорошо! Вечером выйдешь – ох, матушка родная, тихо-то кругом, как тихо! И такая светлынь, что слеза на глаза наворачивается. Огромная луна в лугах восходит – половину неба отхватила. И река вдалеке, и родник у избушки под боком, и туман, что белой парусиной стелется, и малая росинка, дрожащая в стебле, – всё горит волшебным светом, всё переливается, играя причудливыми тенями. И в избушке, и в тёмном овраге – везде невероятная светлынь. И даже, наверно, светло в самой глубокой норе степной лисицы или бродяги-волка. Вечерами такими, захлестнутый чувством восторга, он любил босиком прогуляться по «лунной» дороге. Шлёпает, бывало, по серебристой пыли – она встаёт, разбуженная, и лениво тянется, бледно-голубой извёсткой осыпает придорожные кусты, униженные продолговатыми серёжками ягод. А он идёт себе, идёт и улыбается ночному небу, дремлющей земле. Останавливаясь, тёплой ладошкой ласкает сырые косички овса, наклоненного к самой дороге. Ласкает полынь, а потом, улыбаясь, губами зачем-то пробует на вкус креплённую полынную росу, в которой отражаются капельки раздробленной луны. Затем встаёт на цыпочки и, затаив дыхание, приближается к потаённым соловьиным гнёздам – святая святых. Приближается и замирает на почтительном расстоянии. Хочется ближе подойти, наклониться, посмотреть на спящих соловьев, в руках понянчить будущую песню, способную ошеломить окрестные поля, луга, леса. Но этого делать нельзя ни в коем случае – он знает. Зверёныш или птица, побывавшие в руках человека, могут быть потом обречены на голодную смерть; могут стать «чужими» для своих родителей, которые не переносят запах человека. Скорее всего, что к пернатым не относится подобная жестокость родителей, но лучше не рисковать. Птицу можно приручить, но птичью песню ручной не сделаешь, только навредишь ей своими неумелыми руками.

Вот о чём звенела семиструнная, откликаясь грубым пальцам плотогона, который так вдохновенно играл, прикрыв глаза, что даже не заметил, когда к нему пристроился Зиновий Зимоох.

Бригадир, дождавшись тишины, закурил и сказал:

– Ну, вот теперь я понял, что ты не зря угробил кучу денег.

Вставай, пошли. Такую красоту надо исполнять на публике.

В допотопном ресторанчике постоянно грохотал дешевый магнитофон, но сегодня усилитель сломался – два парня с отвертками ковырялись, провода распутывали.

– О! – приветливо крикнул один из них, с любопытством поглядев на Скрипалёва. – Музыка пришла. А ну-ка, сбавь нам чего-нибудь!

Для храбрости приняв грамм сто, Птаха плечи расправил. Гитара всё больше и больше покорялась ему. Поначалу игравшая глуховато как-то, под сурдинку, гитара стала сыпом сыпать серебро...

И неказистый, мрачный, прокуренный кабаком, до потолка набитый матерками, начал затихать – прислушивались. Музыканта стали приглашать за столики. Другой на месте Пашки не преминул бы этим воспользоваться – на дармовщинку можно хорошенько «газануть». Но Скрипалёв не мог себе позволить рюмки собирать с чужого столика. Из вежливости, правда, он осушил рюмаху, но закуску – жареного тайменя – демонстративно отодвинул.

Разгоряченный выпивкой, он преобразился. Глаза по-орлиному зорко, возбуждённо поблескивали. На лбу расправилась глубокая, продольная морщина. Прямой и утончённый нос немного вздёрнулся. Припухлые губы, собранные в щепоть, расслабились, затаивши в уголках полуулыбку.

Дамы в ресторанчике стали засматриваться на музыканта.

И мужики, хмелея, косяка давили – что за фраер? Он это видел, он это чувствовал, и его подмывало от странного какого-то куража и, может быть, от предстоящей драки – дело привычное. Закинув ногу на ногу – независимый, раскрепощенный – Скрипалёв восседал у окошка и самозабвенно шерстил семиструнку, только что перестроенную на цыганский разбитой манер.

Музыка дразнила и звала плясать. И вот уже какой-то громадный северянин, покачнувшись, распрямился – достал кудрями до потолка. Это был всем тут хорошо знакомый Каторжавин Филипп Максимович. В Тикси он появлялся часто, потому заработал оригинальное отчество – Тиксимович.

Выйдя на середину между столиков, богатырь Тиксимович, потешно хлопая себя по ляжкам, взялся кирзачи от грязи околачивать, изображая лихой перепляс.

Кто-то в тельняшке гаркнул из угла, из дымного облака:

– Палубу, гляди, не проломи!

Весело разглядывая пьяного танцора, Скрипалёв не заметил, когда к нему за столик подвели две красавицы, от которых густо пахло чесноком и луком, недавно привезенным в Тикси. (Лук, чеснок и прочую бодягу, спасающую от цинги, здесь едят без ложного стеснения).

Прекратив плясовую, Птаха речитативом пропел:

И медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна...

Черноволосая девица тут же улизнула, оставив рядом с музыкантом смазливую «блоковскую незнакомку» – белокурую, пухленькую; Арктика успела вытравить молодой румянец на её щеках, но ещё не погасила глубинный огонёк во взоре.

Дамочка, поправляя локон у виска, похвалила:

– Классно играешь. – Стараюсь.

– Научи! – Она многозначительно смотрела, поедая жаркими глазами.

– Будет время – полетаем, – непонятно как-то пообещал игрок.

Из табачного тумана выплыл парень с жидкой бородёнкою, в тельняшке. Склонился над столиком.

– Слушай, лабух! Тут забито! – предупредил, глазами показывая на белокурую. – Так что вали по тундре!

Скрипалёв смиренно улыбнулся, но глаза горели смело, дерзко. Страна Плотогония налила его тело бурлацкою силой – баржи запросто мог бы по Волге таскать, а не то, что пьяных мужиков за бороды.

– А с какой это стати я должен валить? Это ты ведь ко мне подвалил.

Парень в тельняшке вынул руки из карманов.

– Вали по тундре, я сказал. Даю минуту. – Ноготь его постучал по циферблату часов. – Время пошло.

Перестав играть, Пашка с сожалением вздохнул, поправляя непокорный чубчик.

– Что? Тельняшки будем рвать? Макароны морскими узлами завязывать?

– Вали по тундре, говорю!

И вдруг над ними замаячила фигура неуклюжего танцора. Шумно шмыгнув мясистым носом, Тиксимович показал бородатенькому свой здоровенный кулак.

– Чурку видишь? – пробасил.

Крупная «чурка» была, сучковатая, в занозах и смоле, все драчуны стороной обходили этот знаменитый северный кулак.

– Тиксимович, да ладно, я так, ничего, – залепетал бородатенький, растворяясь в табачных волнах.

Парни наконец-то отремонтировали магнитофон – на стене замигали раскрашенные лампочки, и загремела такая музыка – потолок может рухнуть.

– Окончен бал, тушите свечи! – подытожил Скрипалёв, шагая за дверь кабака.

Ветер над бухтой плескался. Редкая чайка вскрикивала. Кругом было сонно, безлюдно, только северные добрые собаки шубами валялись на сухих пригорках и на деревянном, скрипучем тротуаре.

«Удивительное всё-таки создание, – остановившись, Птаха поглядел на лайку. – В городах такие не живут, там всё больше озлобленные. Да там и люди-то порою как собаки».

Белыми ночами его томила странная бессонница. Вот и теперь он не знал, куда себя деть и что делать. И он пошёл, куда глаза глядели – за посёлок. Хотелось уйти далеко-далеко, туда, где заманчиво голубела и подрагивала нитка горизонта, где мерещилось нечто привольное, нежное.

6

После школы он уехал из Привольного, окончил музыкальное училище, хотел учиться дальше, но подросла армия. Была возможность отбояриться от службы – не пожелал. Настоящий мужик никогда не будет увильживать от того, что зовётся долгом, защитой Отечества. Ну, а потом, после армии, мысли про учёбу отодвинулись; не хочу учиться, хочу жениться.

Перед ним возникла дивная Мальвина – статная, грудастая, с глазами, похожими на цветущие мальвы. Длинноногою, стремительной походкой Мальвина вошла в его внутренний мир и всё перекроила, переставила на свой манер и вкус: Пташка оказался покладистым мужем. Гитара, поначалу умилявшая Мальву, с первого плана перекочевала на второй, на третий, а потом вообще за пыльную печку задвинулась – житейская проза давила. Пока они жили вдвоем, было терпимо, но появился ребёнок и в общежитской комнатке стало невмоготу – тесно, душно.

Квартирный вопрос коварным крючком зацепил Скрипалёва и потащил на завод, железобетонными трубами подпирающий небеса на окраине города. День и ночь – по две смены порою – горбатился за токарным станком. Точил двухпудовые чушки, отупело слушая, как они визжат. Горячая металлическая щетина впивалась в руки и Пташка обречённо думал: «Пропала музыка!»

Так прошло полгода, год. Заводские начальники мягко стелили – обещали квартиру, но не спешили, знали, что рабочник сразу удерёт.

Мальва потихоньку стала желчью истекать – какой же ты, дескать, мужик, если не можешь обеспечить элементарным жильем.

Отворачиваясь от жены, он молча, раздражённо зубы «стачивал» возле общежитского пыльного окна. Смотрел в ночную тёмь и терзался думами: «Раньше она так не говорила. Марва! И не зубоскалила. Что это значит?»

Нежное имечко Мальва как-то незаметно превратилось для него в нечто рычащее – Марва. После рождения сынишки она располнела, обабилась. Двойной подбородок нежное сальце свесил; груди тоже будто салом налились – распирали кофточка и платья, которые жена не успевала перешивать. Но это перемены физического свойства. В конце концов, на это можно было закрыть глаза. А вот перемены в характере, в поведении Мальвы – это не могло не беспокоить.

Чёрт знает, сколько ещё на заводе пришлось бы ему резать «железных поросят», но вдруг случился резкий поворот в семейном сюжете.

– Нам квартиру дали! – однажды с порога сообщила жена, радостно сияя глазками-мальвами.

– Ну, слава тебе, господи! – Он тоже засиял. – Значит, всё-таки добил я этих оглоедов. Я вчера ходил по кабинетам, позавчера. Тебе не говорил, чтоб зря не обнадеживать. А вот им прямо так и заявил: я вас добью!

Одёргивая юбку, Мальва усмехнулась. – Добил! – сказала как-то многозначительно.

Сердце Пашки отчего-то дрогнуло, но буксовать на ровном месте не было причин, тем более что Мальва открыла сумку, вино достала, фрукты.

– Муж, объелся груш! Давай обмоем!

Она как-то странно себя стала вести – вызывающе, подковырками.

– Что с тобой? – Ничего. Наливай.

Он посмотрел, как Мальва жадно выпила. – А чего ты глушишь? Как грузчики в порту.

Тыльной стороной ладони она вытерла кровавый отпечаток вина, оставшийся на губах.

– Большая радость – большая выпивка. Кажется, так твой папенька покойный говорил?

Отодвинув рюмку нетронутого красного вина, Скрипалёв оделся.

– Пойду, схожу за сыном.

Возле детского садика он остановился, напряжённо глядя в голубую даль, где пропадало солнце. Рваные чёрные тучи клубились на горизонте. В чёрной сердцевине туч время от времени сверкало, будто распускались и тут же вяли поднебесные цветы. По степям катилась первая весенняя гроза, с каждой минутой свежело. Деревья широкой своей парусиной ловили крепкий ветер – молодая листва трепетала, бледнея исподом. Ласточки слетели с проводов – попрятались. За рекою на лугу лошади встревожились – гривы трепетали на ветру.

Потом новоселье справляли. Всё как будто нормально – «всё, как у людей», только почему-то в глубине души у Скрипалёва поселилась тихая, ничем не объяснимая тревога и тоска – жена от него стала отдаляться; он ощущал охлаждение, отчуждение. Особенно сильно это было заметно в застольях, куда Скрипалёва приглашали играть – всё на тех же свадьбах, какие запомнились с детства, или на днях рождения у друзей. На этих вечеринках Мальва, свекольно раскрасневшись от выпивки, «хвостом вертела» напропалую, тучные тела свои отчаянно растрясала в танцах и вообще вела себя фривольно, даже слишком. И Птаха, в конце концов, зарёкся ходить с ней на разные пьянки-гулянки.

– Люди зовут, чего ты фордыбачишься? – недоумевала Мальва.

– Разонравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки, – отвечал он стихами. – Лучше хозяйством займусь. Надо мало-мало обустроиться.

– Хозяйством? – удивилась жена. – Это что-то новенькое! – Новый дом, что ж ты хочешь! Такое хорошее место. Тут можно жить, как в раю.

Двухэтажный кирпичный дом находился на краю областного городка – грех не воспользоваться плодородной землёй. Птаха для начала кроликов купил. Огородик небольшой раскорчевал возле реки. За огородом, за рекой – по мелкобродью легко перейти – луговина изумрудная раскинулась, костяника красными дробинами рассыпана среди берёз, земляника зреет на полянах. Там, на приволье, он душой отдыхал. Сынишку брал с собой, травы и цветы ему показывал, рассказывал про дятлов-докторов, которые лечат деревья. Сказки сочинял про муравьёв, лесных трудяг, про пчёл, работавших, не покладая лапки, облепленные сладкою пылью. Вместе с сыном они соорудили маленький эдакий «рай в шалаше», сена туда натаскали, пахучей мяты. Шалаш под соснами стоял, не промокал в дождливую погоду.

Однажды утром Птаха наточил литовку, хотел пойти за речку, травы для кроликов покосить да и просто так размяться, рай в шалаше навестить. Теперь, после получения квартиры, он работал сутки, двое отдыхал, так что времени навалом.

Выйдя во двор, Скрипалёв слышал голоса под бельевыми верёвками; жена вчера вечером постирала белье и развесила посредине двора, и вот с утра пораньше там две соседских кумушки языки чесали.

– Вот эту юбку-то она и задрала перед начальником, – слышал Скрипалёв. – А ты как думала? Как же им квартиру-то без очереди дали?

– А что за начальник?

– Да этот, как его? Лешак. Или нет – Лысак.

Стоящий за углом сарая Пашка вздрогнул и начал краснеть. Руки сами собою разжались – литовка выпала. В голове зашумело, как после крепкой браги, и всё остальное он видел уже как в тумане.

Протащившись по грязным береговым переулкам – дождь недавно прошел – Скрипалёв оказался на площади. Пройдя по луже перед горисполкомом, Скрипалёв пинком открыл тугую дверь, оббитую красной кожей. (Милиционер, дежуривший у двери, отлучился куда-то). Быстро, тихо пройдя, как по мшистому лесу, по длинной ковровой дорожке, Скрипалёв поднялся на второй этаж. В коридоре стояла кадка с деревцем, яркие цветы в горшках. Он зачем-то прихватил «ночной» горшок с растительностью, похожей на цветущую мальву.

В приёмной Пташку встретила высокорослая секретарша лошадиным лицом, с непомерно объёмной грудью, похожей на амбразуру.

– Это что ещё такое? – зашипела она, поднимаясь. – Вы куда, гражданин? Там идёт совещание...

Не обращая внимания, Скрипалёв и эту дверь пинком растарабарил, оставляя грязный отпечаток на дерматионе. Дверь вовнутрь влетела с треском, обо что-то стукнулась и повисла на одной петле – вторая оборвалась. Сверху посыпалась штукатурка, белым инеем пыля по воздуху.

Секретарша за спиною Пташки уронила дырокол и приглушённо взвизгнула.

Солидные чиновники, восседающие в просторном кабинете за длинным полированным столом, закаменели на минуту, не мигая, следили за непрошеным гостем.

Лысак, важно торчащий во главе стола, от неожиданности икнул.

– Ик... кто такой? В чём дело? – Он нахмурился, держа перед собою бумагу с государственным гербом.

Скрипалёв промолчал, сосредоточенно осматривая диван, шкафы, рулоны печатной продукции на подоконниках.

– Так, так, – подытожил он. – Значит, работаем, да? Старый козлик.

Сдёрнув очки, Лысак поднялся, близоруко шурясь.

– А ну-ка! – По кабинету прокатился начальственный бас. – Вон отсюда! Живо!

– Кто я такой? – Пашка перевернул горшок с тёмно-синей цветущей мальвой – земля полетела под ноги, рассыпалась по дорожному ковру. – Скрипалёв! Знакомо? Ну, так вот! – Он водрузил пустую посудину перед обалдевшим Лысаком и объявил с улыбкой сумасшедшего: – Сейчас я буду из тебя выжимать г... в этот горшок!

Чиновники, сидящие за круглым столом, прочухались и глухо зароптали. Кто-то, самый прыткий, за руку Скрипалёва уцепился. На него навалились, пытаясь скрутить. Но Птаха проявил недюжинную силу – раскидал чиновников. Схватил графин с водою, стоящий на столе, и запустил в хитромудрую башку начальника. Графин, кувыркаясь, теряя пробку, забулькал, проливаясь в воздухе, и со звоном разлетелся рядом с Лысаком, оставляя тёмное пятно на стенке.

Милиционер в эту минуту подрос и ещё какие-то молодчики. Сзади на Пташку надели сразу несколько человек. Затрещала рубашка, захрустели косточки.

– Давай, давай! – кричал он, оскаливая зубы. – Толпою, стадом – это вы умеете!.. Давайте, составляйте протокол! Газету сюда, телевидение... Мы этого козла прославим...

Слёзы под горло подпёрли, и он замолчал, только губы тряслись – нервы стали ни к черту. Часто-часто моргая, он смотрел на мякенький, барским бархатом обтянутый диван, на котором жена, наверно, «зарабатывала» квартиру.

Кто-то поднял его. Встряхнул.

Лысак презрительно скривился на прощанье:

– Мы с вами потом разберёмся. – Он махнул холёною рукой милиционеру. – Проводите товарища.

Пряча руки в карманы, Пашка обнаружил перочинный ножик.

– Гусь свинье не товарищ! – прохрипел он, стискивая ножик. – Это не ты, а я потом с тобою разберусь!

Всю дорогу домой Скрипалёва слегка лихорадило. Он вытащил вино из холодильника – приготовлено жене на день рождения. Открыл, понюхал, подержал в руках бутылку, но пить не стал. Покружил по комнатам. Осмотрелся. В доме пусто, прохладно – Мальва на работе, сынишка в яслях. Пташка юбку заметил в окне – на бельевой верёвке полоскалась. Та самая, про какую соседи судачили. Он вышел, сдёрнул юбку, за сараем располосовал на лоскуты, хотел спалить, но юбка ещё не высохла.

Вернувшись в дом, он снова позарился на бутылку вина. И снова сдержался.

Умывшись, переоделся во всё чистое, нарядное, будто в театр собрался; такая странность у него в характере – чем хуже становилось на душе, тем лучше пытался он выглядеть внешне.

Соловьиная Балка, вот куда он уехал, – самое близкое сердцу, дорогое местечко. В Соловьиной Балке красота и воздух пропитан мёдом – хоть на хлеб намазывай. Под окнами берёзы призрачно белеют при луне. От крылечка стелился травяной и цветочный ковёр, убегающий за облака, скирдами вспухающие на горизонте. И днём и ночью в тальниках река умиротворенно мурлыкала, мягкой лапой скребла золотые песчаники под яром, сверкающей спиной тёрлась о берега, оставляя на них белопенную шерсть. И повсюду стояли пчелиные, уютные домики – в ограде, за огородом, по-над рекой. Это было сладкое местечко, в буквальном смысле. И хозяйничал здесь добродушный, белобородый старик Пчелунь, про которого Пташка даже стишок сочинил: «Влюблённый в мёд, седой как лунь, в степях живёт старик Пчелунь!...»

Только это, к сожалению, осталось в прошлом. Старик Пчелунь скончался год назад – в Соловьиной Балке свой век доживала одна глухая бабушка Пчелунья с козой да индюшками.

Скрипалёв проведаль одинокую могилку, приютившуюся берёзах на краю старой пасеки. Посидел на поваленном дереве, послушал пчёл, роящихся над пёстрыми цветами, укрывшими могилу. Погоревал, что не с кем душу отвести. «Эхе-хе! – вспомнил он, – правильно дед говорил: не ломай рябинушку, не вызревшу, не бери девчоночку, не визнавши!»

Под крышей тёплой пасеки он выпил медовухи – бабушка Пчелунья угостила. Побродил по берегу реки, тоскуя о невозвратных деньках. Густеющая темень окрестные берёзы точно дёгтем вымазала, и примерно такая же темень в душе. Но вскоре воздух начал одеваться легким лебяжьим пухом. Пташка даже не сразу понял, что происходит. А это – луна собиралась идти сюда в гости. Прошло, наверно, полчаса, и луна заявила, беззаботно, улыбочиво засияла над Соловьиною Балкой – полная, сдобная, с медово-золотистой поволокой по нижнему краю. Трава спелой росой блеснула на пригорках. Задремавшие цветы зашевелились, сквозь прищуренные лепестки-ресницы глядя вверх. Стрекоза, летунья лупоглазая, во мгле задремезжала, сверкая слюдянистыми крылышками.

Полежав на копне прошлогоднего сена, глядя на тёмное облако, подоженное светом луны, Пташка покусал горчащую травинку. Вспомнил про ножик в кармане. Раскрыв небольшое, тонкое лезвие, долго рассматривал острие, искрящееся лунным светом.

«В тюрьму ещё садиться из-за этого козла! Нет, надо уезжать отсюда! Всё!»

Нож серебристою щучкой плеснулся в реке.

За три с половиною года бродяжничества он всего понемногу хлебнул. «Ямщиком» работал – шоферил на северных трассах, пока однажды чуть не околел: машина зафордыбачила посередине зимника, пришлось палить сидения, колёса. Он сильно обморозился, в больнице пролежал около месяца и за баранку уже не вернулся. В чахлой северной тайге и тундре Пташка попробовал ту самую охоту, которая пуще неволи – промысловик знакомый заманил в помощники. Потом рыбакам помогал «золотую рыбку изловить»: в диком безмолвии отрогах Путоран, на берегу, покрытом подушками ягеля, стояла кривобокая, чёрная рыбацкая обитель. Капроновые сети на сорокаградусном колотуне – да ещё с ветерком! – становились похожими

на серебряно звенящую кольчугу. А мёрзлая рыба в мешках гремела металлическими чушками, которые он точил на заводе, бог знает, когда.

Затем работал Пташка на ЗФИ – Земля Франца Иосифа – на острове Хейса в обсерватории имени Кренкеля. Для чужого уха перечисления эти звучали солидно, внушительно. Позднее, разговорах на материке, Скрипалёв с важной миной произно сил все эти имена-названия, после чего делал большую актерскую паузу, изображая из себя научного сотрудника обсерватории. И только потом, простодушно посмеиваясь, говорил, что скотником работал на острове Хейса; быкам хвосты крутил семь с половиной месяцев, дерьмо из-под них выволакивал при чудном свете позарей – северных сияний. Очень уж сильно ему захотелось побывать в сердце-вине Арктики, вот и согласился быть «губернатором острова» – ухаживать за рогатым скотом.

Покончив с «губернаторством», он прописался в городе Ленске. Второй сезон работал в леспромхозе, придумав себе сказочно-прекрасную страну Плотогонию, которую нельзя не полюбить за широкий отчаянный нрав. Зимой Пташка – в ватнике, в унтах – снег месил с мужиками, валил вековую тайгу. Трелёвочные тракторы, в чистом воздухе жутко воняя соляркой, хватили железными лапами охапки деревьев и на стожильных канатах тащили под берег, на ледяную протоку. Там готовили звенья плота. А весной, после шибутного, дуrolомного ледохода, звено за звеном буксировали в тихую заводь. Там связывался крепкий, могучий караван из кедра, сосны и лиственницы. Получились эдакие деревянные айсберги, которым предстоял тяжёлый путь на самый край земли, до Северного Ледовитого океана и даже дальше – в страну восходящего солнца.

– Мужики! Смотри, что вытанцовывается! – Скрипалёв во время перекуров любил порассуждать. – Выходит так, что чужедальняя заморская страна – это вроде как сестра для нашей страны Плотогонии. Так?

– Ну, допустим, – соглашались. – Куда ты клонишь? Пташка делал паузу.

– Нам делегациями надо обменяться. Они пускай посмотрят, как мы здесь ишачим, а нам пускай дадут возможность посмотреть, чего они там делают из нашей древесины. Логично? – Дадут. Если догонят. – Посмеиваясь, мужики снимали потные шапки, дымящиеся как чашки с кашей.

7

Арктическое солнце так и не ушло за горизонт. Красноватый диск, похожий на свежий спил гигантского смолистого бревна, кутаясь в полупрозрачной утренней дымке, точно плыл и плыл куда-то вдаль, покачиваясь на горбатой спине океана. Однако всё же утро давало себя знать – солнце начинало подниматься. Ветерок туманы потянул, очищая арктический берег, на изломах сверкающий вкраплениями вечной мерзлоты.

Плотогоны шли в аэропорт. На каждом шагу попадались бочки из-под солярки, змеями закрученные обрывки троса, ржавые гусеницы от тягачей. Но главная достопримечательность этой печальной местности: вся тундра за посёлком усыпана стеклом – как битым, так и не битым. Годами, десятилетиями никто отсюда стеклотару не вывозил, а привозили исправно, каждую навигацию выгружали тонны бутылок, банок и прочего стеклянного добра. Так что теперь насколько хватало человеческого глаза – всё блестело и сверкало, отражая лучи восходящего солнца...

– Пир на весь мир! – вслух подумал Пташка.

– Где? – встрепенулся Зимоох, поводя опухшими очами. – Да это я так. – Скрипалёв, шагающий впереди, оглянулся. – Что, бугор, хреновастьенко?

– Пивка не помешало бы.

– В аэропорту опохмелишься.

Зимоох страдальчески поморщился. Лицо его – вчера ещё цвета морёного дуба – отличало болезненной бледностью.

– Не опоздаем? – беспокоился он, поглядывая в сторону аэродрома, откуда доносился гул турбин.

– А сколь на твоих золотых? – подколот его Сеня Часовщик. – Без пяти, как спёрли! – огрызнулся бригадир, глядя на левое запястье, где белела полоска от ремешка.

Поглаживая старые ожоги на лице, похожем на сосновую кору, Часовщик тихо пилил бригадира:

– Говорил же, давай поменяемся. Нет, куда там. Надо загнать за бутылку.

– Лес рубят – кепки летят, – оправдываясь, проговорил Зимоох. – За твои золотые и стакана водяры не дали бы.

Клешней клянусь.

– Да у меня часы, смотри...

– Иди ты в баню, я сейчас только на пиво могу смотреть. А всё остальное – и в том числе рожу твою – глаза бы мои не видели.

– Ты на свою посмотри. – Сеня криворотом улыбался, не обращая внимания на то, что «красавчиком» заделался после пожара в тайге под Ленском.

«Отважный парень – этот Сеня! – удивлялся Скрипалёв, глядя на изуродованное лицо. – Лично я с такою фотокарточкой даже из дому не вышел бы!»

Где-то над причалами чайка изредка вскрикивала, волны вразнобой шебуршали под резкими порывами ветра. От берега доносило оттаявшей землёй, обвалившейся гигантскими глыбами, пахло мокрым ободраным деревом; красноватая сосново-кедровая кожа лохмотьями свисала с плотов, пострадавших в пути.

– Сыграл бы, что ли, – буркнул Зимоох, покосившись на гитару. – Тоска.

Часовщик не унимался, усмехался.

– Зато вчера повеселился, да, бугор?

– Ну, а что ж ты хочешь? – Зимоох, снявши кепку, промокнул похмельную испарину, блестящую на лысоватом темени. – Всё по полной программе: и целование, и мордобой.

Дальше двигались молча. Арктическое, малоприветливое утро там и тут грязь на дороге подкрасило едва заметным суриком. Крыши хилых строений издалика казались покрытыми цинковым свежим листом. За посёлком дорога раздваивалась – чёрною лентой ускользала куда-то в сопки, истерзанная траками тяжёлых тягачей, после которых в тундре лет пятнадцать трава не растёт.

Силуэт сухогруза горделиво маячил на фоне залива. Женский смех по-над водой послышался.

Остановившись передохнуть, Зимоох перекинул старый чемоданишко из руки в руку.

– Птаха, – позвал, оборачиваясь. – Моряки вон Белку плен захватили. Не жалко?

– Какую белку?

Зимоох удивился.

– Привет! Ну, такая... беленькая, пухленькая. Все челюсти подкованы железом. Мы же её специально подсадили к тебе. А ты, выходит, даже не узнал, как её звать? – Зиновий осуждающе покачал головой. – Белла втюрилась в тебя! Ты чо?

Ослеп?.. Ой, Птаха, Птаха. Ну, вахлак. И когда мы тебя только женим?

– Как только, так сразу.

– Так в том-то и дело, что Белка готова была... – Зимоох добавил нечто непечатное.

Скрипалёв смутился, опуская голову. Поскользнувшись на грязной кочке, взмахнул зачехленной гитарой и чуть не упал.

– Да иди они подальше эти белки-стрелки!

– Тоже правильно, – неожиданно согласился бугор. – С ними свяжись, потом беды не оберешься. Подцепишь чего-нибудь. Видишь, Белка эта по каютам скачет, как сучьям. Сучка.

– А тебе завидно? – съехидничал Сеня Часовщик. – Я сейчас завидую только тем, кто с пивом.

– Да вот они-то с пивом. Моряки.

– Не трави мне душу, Часовой.

Глядя в сторону сухогруза, Скрипалёв пожал плечами. – А может, не она?

– Один хрен – баба! – Зимоох махнул своей уродливой клешней. – Все они такие. Знаю. Ходил матросом, так потом...

Жена потребовала справку от гинеколога. Скрипалёв остановился.

– От кого?

И вся бригада плотогонов, как по команде, остановилась.

– Слышь, братва? – Часовщик за голову схватился. – Бугор наш ходит по гинекологам!

– Заткнись! – багровея, рявкнул Зимоох. – Я хотел сказать...

Но его уже никто не слушал. Плотогоны, размахивая руками, чуть со смеху в грязь не попадали посредине дороги.

После взрыва хохота мужики приободрились и дальше потопали с новой силой – широко и напористо, так они ходили бензопилами и топорами по дебрям страны Плотогонии. Здание аэропорта впереди замаячило.

Полосатая «штанина» полоскалась на ветру.

– Не опоздали! – Бригадир едва не перекрестился. – Надеюсь, пиво тут есть?

– А как же? – ухмыльнулся Часовщик, увидев замок на буфете. – Пиво тут холодненькое. Запотевшее.

– Сеня! – Скрипалёв осуждающе покачал головой. – Ты, однако, садист!

– Садовод, – спокойно парировал Сеня. – Я в городе Мичурине родился.

Бригадир напился водички из-под крана.

– Вот и возьми туда билет. Мичурин.

– Только об этом и думаю! – Сеня почесал свою «сосновую кору» на щеке. – Вот получу расчет – и уперёд! На родину! Там мамка ждалась. И женушка моя чуть вдовой не стала.

Я тут с вами прошёл и огонь, и воду. А медные трубы я хочу пройти на родине моей. Надоела ваша Плотогония.

– А кому не надоела? – Вздыхая, бригадир посмотрел на руку, много лет назад раздавленную бревнами. – Мне, что ли, нравится ишачить по сугробам в тайге, по штормам на реке? Да пропади оно пропадом. Лежал бы сейчас где-нибудь на курорте, пиво пил, деваху тербил.

8

Взлётную полосу каждую зиму разрывала кошмарная арктическая стужа – бетонка в трещинах, залитых специальной смесью гудрона, каменной крошки и ещё какой-то мелкой мешанины, цементирующей полосу. Заплаты чернели под крылом самолёта. Свежие строчки и пунктиры белели на рулёжной дорожке, на которую из-за облаков стали выпрыгивать робкие солнечные зайцы.

Один такой заяц в иллюминатор заскочил – пригрелся на коленях Скрипалёва. Поглаживая зайца, он улыбнулся: «Сейчас тебя за уши выкинут отсюда!»

В самолёте появились пограничники – документы проверить. Новенькая форма на двух парнях ещё торчала колом, зато молодой офицер подтянут, элегантен, знает себе цену. Подавая пример бдительности молодым солдатам, офицер мурыжил пассажиров, дотошно проверяя документы.

Очередь дошла до Зимооха.

– Стоп! – насторожился пограничник, рассматривая паспорт. – Разве это ваша фотография?

– А кто ж там? Тётя Дуся с макаронной фабрики? – проворчал бригадир.

– На тётю Дусю вы не похожи, – офицер продолжал присматриваться, – но и сами на себя не очень-то. Придётся пройти. Для выяснения личности.

У бригадира – глаза на лоб. Он завертелся в кресле, как ужаленный.

– Командир! Ты что? Вы что?! – Он руку прижал к сердцу – уродливую клешню без ногтей. – Да это я на карточке! Гадом буду – я! А кто же там ещё?

– Не знаю, не знаю. Пройдёмте. Зимоох застонал, закрывая глаза.

– Командир, побойся бога! Ну, что мне? Загорать здесь?

– Загорать, может быть, вам придётся не здесь. Это решают в суде.

– Да это я на карточке! Клешней клянусь! – Зиновий кепку торопливо сдёрнул с головы. – Ну, посмотрите. Разве не похож?

Офицер прищурился, поправляя околыш пограничной фуражки.

– Допустим, – не сразу согласился. – Похожи, но не совсем.

Скрипалёв официальным тоном заявил:

– Товарищ лейтенант, вы примите во внимание тот факт, что он трезвый фотографировался. Сейчас его на паспорте даже мать родная не узнает. Плотогоны расхохотались.

– Дайте ему свеженького пива, – посоветовал Часовщик, – на человека станет похож.

Через несколько минут проверка документов благополучно закончилась. Пограничники, франтовато козырнув, пожелали счастливой дороги и загрохотали подковками по трапу.

Самолёт покатился на стартовую отметку. Замер. Затем турбины взвыли, раскаляясь яростным нутром. Разгоняясь, лайнер слегка присел на задние колёса, всем корпусом подался вперед и вверх. Сердце на мгновение жарко защемило стремительным отрывом от земли – за бортом замелькали огонёчки взлётной полосы, присыпанной редким пухом и сырыми перьями тумана.

Покидая Тикси, пролетая над стылым свинцом океана дальше – над зелёною тундрой, над лесом, – Скрипалёв был в отличном расположении духа. В нём окрепло решение ехать на родину. Хватит бродяжничать, дорожной пыли наглотался до изжоги.

Задумавшись, он смотрел в иллюминатор, ласково мурлыкал что-то под гитару и представлял родимые просторы.

Как там сейчас хорошо! Кругом колосятся хлеба на равнинах, облепиха вызревает на снегозащитных полосах. Коровье стадо боталом бренчит в лугах. Целыми днями по берегам пасутся табуны лошадей – мальчишки стерегут их во главе с каким-нибудь совхозным коневодом и, оставаясь на ночь, палат костры на пригорках, картошку пекут, голышом купаются при звёздах, при луне. Красота. Благословенные ночи золотые денёчки цветут по-над родиной, краше которой не было и нет, хоть пройди всю Землю вдоль и поперёк. Скоро ветер щёки свои станет надувать, буйно дохнёт предосенней остудой, с посвистом начнёт гулять по садам, срезая спелые листья, с ног сбивая ослабевший травостой, вороша солому под застрехами и выдувая оттуда продрогших воробышков, которые с завистью будут смотреть вослед курлычущим караванам, клювами нацеленным на Юг. И опять крестьянин или другой какой-то русский человек, умудрённый вековым опытом неосознанным в себе язычеством, будет поклоняться Ветру Буйному: травяные копны и соломенные скирды, стоящие за огородом, предусмотрительно будет вожжами и верёвками привязывать к земле; широкие тесовые ворота будет перед ветром почтительно раскрывать, чтобы он гостем во двор заходил, а не разбойником с большой дороги, которому ничего не стоит повалить широкие ворота, копну или скирду поднять на свистящие вилы свои и забросить играючи на небеса, где пасётся господнее стадо. А потом на родину придёт притихший, будто в чём-то виноватый, зазвонистый утренник. И воздух будет пахнуть ароматным, розово-золочёным яблоком. И в эту пору Паша Скрипалёв

домой приедет, сынишку подхватит на руки, станет подбрасывать в воздух, целовать краснощёкие «яблочки» с ямочками, которые от мамочки достались. А потом – все трое! – весело пойдут по прямой дороженьке меж золотых хлебов. Пойдут, взявшись за руки, довольные друг другом и всем белым светом. Ведь если глубоко задуматься над жизнью, а не порхать поверхностно – для счастья человеку немного нужно.

Размечтался Пашка-Пташка, глядя в иллюминатор. Пальцы его машинально перебирали струну за струной, и он запел так тихо, даже сам не заметил:

Я ехала домой, я думала об вас...

Монотонный плотный рёв турбин «завалил» ему уши, вскоре Птаха стал напевать гораздо громче, нежели ему казалось.

Пассажиры дремали, откинувшись в креслах или скрючившись в три погибели. И только один человек, монументально сидящий впереди, с трудом повернулся, колыхая упитанными щеками, и заворчал:

– Рано пташечка запела!

Скрипалёв поморщился, разглядывая сытую физиономию. «Ты гляди, как здорово на Лысака похож!» – подумал он, перебирая струны.

– Давай потише! Ты не понял? – рассердился упитанный. – Я вас понял, товарищ Лысак.

– Чего? Как ты сказал?

– Я говорю, что мы не пили с вами на брудершафт, поэтому тыкать не надо. – Скрипалёв поправил непокорный чубчик под сурдинку продолжил старинный романс.

В тёмно-серых глазах «Лысака» вспыхнуло что-то недоброе.

– Не зуди под ухом! Дай поспать!

– А почему бы эту мысль вам не высказать нормальным русским языком? – очень вежливо, даже ласково поинтересовался Птаха. – Зачем же сразу выставять дистанцию огромного размера?

– Хватит, было сказано! – «Лысак» зверовато ощерился. – Надоела твоя бренчалка!

Скрипалёва всегда изумляло вот это: как далеко улыбка людей, но как близко зубы, готовые кусать.

Продолжая брать негромкие аккорды, он посоветовал:

– Кому не нравится, тот может выйти.

– Ты дождешься! Я тебя точно высажу. Без парашюта.

– Ну, это как получится, товарищ Лысак.

Отвернувшись к иллюминатору, Пашка опять стал потихоньку струны щекотать.

– Молодой человек! – Теперь возмутилась дородная женщина сбоку. – Ну, что вы, в самом деле? Хватит безобразничать! Трынть да брынь! Сколько можно?

Лицо у Скрипалёва изумлённо вытянулось.

– Да вы что? Офонарели? Я же романсы пою, а не строгаю уши матерком! – Он поднялся и неожиданно крикнул: – Эй, командир, открой ворота, мне нужно выйти! Мне тут кое с кем не по пути!

Хмуробровый «Лысак» настроился по-боевому. Отстегнув ремень безопасности, он заворчался, колыхая брюхом в чёрном свитере, и что-то зарычал, наклоня лысоватую голову.

Скрипалёв напрягся. И вдруг заметил в кресле неподалёку вчерашнего плясуна из ресторанчика – Филиппа Тиксимовича.

Подмигнувши, будто старому знакомому, Каторжавин потянулся, треща суставами.

– Ты чо вспухаешь, дядя? – зычно спросил он, приподнимая свой знаменитый кулак. – Чурку видишь? Тут всё схвачено, за всё заплачено. Пушай поёт. А то вместо Якутска – мать вашу! – в Африку угоним самолёт. Как в прошлый раз.

9

Бухгалтерия не торопилась – ждать расчёта пришлось два дня. Погодка, правда, баловала: после проливного, хлётского дождя над Якутском полыхало отчаянно-яркое солнце, даже маленько припекало в заветерье. В садах и на улицах рябины уже разгорались рдяными гроздьями, листва играла сырыми бликами – рябин здесь много, прижились на малоуютной земле. «Обжигаясь» глазами об эти животрепещущие угольки, Пташка улыбался, вспоминая милый сердцу палисадник, георгины и мальвы, цветущие под окном. И снова он думал: домой надо ехать.

Бесцельно шатаясь по городу, наполненному непонятным говором, Скрипалёв подолгу задерживался на набережной.

Смотрел на лихтеры, стоявшие в затоне, напоминающие простецкие плавучие избы: железные трубы над лихтерами дымком кучерявилась; штаны, рубахи с платьями сушились на бельевых верёвках – шкипер, стало быть, мужик семейный. Потом он уходил туда, где белые большие пароходы, как малоповоротливые глыбы льда, то швартовались, то уходили верх или вниз по течению полноводной, могучей Лены – одной из величайших рек земного шара. И всегда он испытывал странное какое-то волнение, когда смотрел на пароходы, на самолеты или поезда. Дух странствий, дух бродяжничества, доставшийся ему от пращуров, иногда казался Божьим подарком, но чаще всего – наказанием Божьим, крестом непосильным, который он вынужден терпеливо тащить по жизни, отдуваясь за чьи-то грехи, сотворённые во втором или третьем, или пятом колене. Шагая от пристани, Пташка глазами наткнулся на здание главпочтамта. От нечего делать зашел, – в Якутске и в Ленске он всё получал «до востребования».

Предъявляя паспорт смазливой, раскрашенной девице, деловито сообщил:

– Здесь должен быть перевод. Из заграницы.

– Никаких переводов, – покопавших в бумажках, строго ответила девушка. – Только письмо.

– Да? – Пташка удивился. – Тоже неплохо.

Письмо пришло от Мальвы – почерк хорошо знаком. «Чего это она? – мелькнуло в голове. – На неё не похоже!»

За углом главпочтамта он остановился, ногтями нетерпеливо расколупал конверт и развернул ослепительно-белый листок, озаренный солнцем. Стал читать – и всё померкло перед глазами.

«Что за фигня? – Он свирепо скомкал письмо. – Совсем сдурела, что ли?! Как это так может быть?..» Сердце больно бухало под рёбрами. Он пошёл, куда глаза глядели. Остановил прохожего. – Закурить не найдётся?

Низкорослый якут покачал смолистой головой.

– Бырасты, – извинился и добавил с акцентом: – Не курю.

– И я не курю, и тебе не советую, – отрешённо ответил Птаха. Потом он спохватился, быстро вынул из кармана помятое письмо и запальчиво заговорил: – Слушай, земляк! Я чего-то не понял! Ну, как это так может быть?.. Вот, послушай...

Якут, плохо понимающий по-русски, настороженными глазами-щёлочками посмотрел на бумажный скомканный снежок, затем на Скрипалёва кинул взгляд и, ничего не говоря, дальше потопал своей косолапой, проворной походкой.

Битый час, который показался вечностью, Скрипалёв искал собеседника. Людей было много вокруг да около, но все они спешили по своим делам, а те, кто задерживался на минутку-другую, глядели на Птаху, как смотрят на больного или пьяного.

И вдруг повстречался Филипп Тиксимович.

– Ты чего такой смурной? – весело спросил он, обдавая винными парами. – Обидел кто? Скажи.

– Да у меня-то всё нормально, – слукавил Пташка. – А вот у брата моего дела хреновые. Письмецо от него получил. – Парень пригладил соломенный чубчик, взъерошенный ветром. – Скажи, Тиксимович, может быть такое или нет... – Он замолчал, смущённо покашливая. – Какое «такое»? – не понял Каторжавин.

– Ну, чтоб родного сына чужой какой-то дядька усыновил. Мрачней, богатырь пожевал мясистыми губами. Поцарапал на щеке щетину.

– Всё может быть. Но это – с согласия отца. Пташка лицом посветлел.

– А по-другому как-то может быть?

– Не знаю. – Каторжавин посмотрел на свою «чурку», пошевелил непомерно большими пальцами. – А где твой брательник живёт? Далеко от жены?

– Далеко! – ответил Пташка, растягивая слово. – Очень далеко.

– Ну, тогда через суд. – Каторжавин поцарапал свою «чурку» с тёмными сучковатыми козонками. – Там такое дело получается: запрос через суд высылают по месту жительства. Отца находят, спрашивают. Канитель, короче.

Скрипалёв чуть не обнял его на радостях.

– Ну, спасибо, Тиксимович! Выручил! А то я не знал... Кхакха... Не знал, что брату написать.

Пожав друг другу руки, они пошли в разные стороны, но перед этим Каторжавин поинтересовался:

– Ты деньгу-то получил?

– Нет. А что, дают?

– Так давно. С утречка. Я уже отметил это дело. – О, ёлки зелёные! А я с этим письмом забуксовал! Каторжавин поторопил:

– Дуй до горы, а то сегодня пятница, короткий день.

И Птаха помчался в контору, занимающуюся финансами «Страны Плотогонии». Не так давно построенная контора находилась на речном берегу – многоэтажная, с каменным фасонистым крыльцом.

Через несколько минут Скрипалёв оттуда вышел, несказанно довольный, с оттопыренными карманами. Говорят, что деньги это зло, а Пашка почему-то сразу подобрел. И походка его изменилась – это была походка гражданина, который стал хозяином Земли. Пташка выпятил грудь и зачем-то нижнюю губу отклячил, изображая некое презрение или снисхождение ко всем вот этим босякам, которые попадались навстречу и даже понятия не имели, что мимо них проходит сын Рокфеллера. Незаконнорождённый. Зато вполне законно заработавший неплохой капиталец.

Поигрывая пальцами, пощёлкивая по тугим карманам, «сын Рокфеллера» постоял на мраморном крыльце, сплюнул сквозь зубы на грешную землю и посмотрел в небеса, где проползал серебристый паук – сверхзвуковой самолёт, оставлявший за собою заиндевелую паутину, растянувшуюся на полстраны. «Ну, что? – «Сын Рокфеллера» поправил непокорный чуб. – Домой! Сейчас прилечу, клизму вставлю доброму дяде, чтоб неповадно было рот резать на чужих сыновей!»

Он вышел на проспект, рукой взмахнул, как человек, отгоняющий муху.

Такси затормозило.

– Шеф! – спросил пассажир, располагаясь на переднем сидении. – Вокруг земного шара не слабо?

– А денег хватит?

Скрипалёв усмехнулся.

– Дяденька, не делай мне смешно. Как говорят в Одессе.

В родном моём городе.

– А здесь чего забыл товарищ одессит? – Сумку в общаге!

Он хотел по-быстрому добраться до общежития, поклажу свою прихватить и мчаться дальше – в аэропорт. Но дорога в нескольких местах оказалась перерывной – железобетонные блоки лежали возле канав, трубы канализации. Таксисту пришлось покрутиться по закоулкам.

– Вот уж действительно, вокруг земного шара, – ворчал он. Пока добивались до общежития, в небесах произошли поразительные перемены. Солнце пропало. Тени по городу поплыли. Ветер, налетая откуда-то со стороны Лены-реки, зашумел, засвистел в камышах, рыжей густой щетиной торчащих в нескольких метрах от общежития. Гром забубнил сначала вдалеке, а потом над крышей загрохотало так, что стёкла испуганно звякнули в окнах.

Гроза подкатывала «пушки» из-за реки.

– Что такое не везёт и как мне с ним бороться? – пробормотал пассажир, бросая сумку на заднее сидение. – Погнали в аэропорт!

Первые кляксы дождя расплзались по лобовому стеклу. Низкое небо волоклось над дорогой – пятна света и рваные тени пробегали наискосок.

В аэропорт они скатались понапрасну. Все рейсы были отменены.

10

Сверкало и гремело – трое суток подряд. Взъерошенную реку будто наизнанку вывернуло и вспять погнало с бешеной пеной на боках, на холке. Старый лихтер с якорей сорвало и на берег вышвырнуло – гигантским, ржавым утюгом лежал на мелководье, зиял пробитым брюхом ниже ватерлинии.

Город на время грозы стал как будто ниже, сиротливей – тучи по крышам топтались косматыми лапами, пробуя на прочность шифер, доски, гремющую жёсть. С посвистами выл промокший ветер, обрезавшийся о провода. Рябины трещали садах, растрясая листву и незрелые гроздья. Водосточные трубы не успевали захлѐб глотать потоки шустрого дождя – вода пузырчато вскипала в жестяных тарелках наверху, текла через края.

Общежитие окутал полумрак – провода порвало грозобоем. В комнате горела керосиновая лампа, озаряя неприбранный стол, грязный пол, местами залитый портвейном, засыпанный пеплом. Общежитская комната напоминала прокуренную избушку, стоявшую на плоту, который ещё недавно по реке скользил в далѐкую, арктическую бухту. В той избушке плотогонам приходилось коротать вот такую же непогодицу – это дело привычное; когда плоты спускаются низовье Лены, частенько попадают в шторм, – устье такое громадное, что берегов глазами не поймать. Пережидая бурю, плоты предусмотрительно швартуются в излучине, в заветерье, где могут стоять суток двое, трое. И тогда в избушке на кроватях, обтянутых балдахинами из марли, чтобы комарѐ не докучало, – плотогоны принимались травить баланду. И чего там только не наслушаешься – уши пухнут пельменями.

Примерно так же было и в этом общежитии, где приютилось дерзкое племя плотогонов. Травили байки, анекдоты, вспоминали весѐлые или печальные житейские истории. Но рассказы крутились уже по второму и даже по третьему кругу: Зимоох повторялся и другие рассказы. И всё это было похабное, сальное. Языки, как длинные шнурки, развязаны вином и водкой.

Скучая, Скрипалѐв стоял возле окна. Смотрел, как дождевые струи, свисая с крыши, сверкали стеклярусом и разбивались, втапывая в землю стебли полыни. Вдохнувши, он прилѐг на свою казѐнную кровать, заправленную чѐрным суконным одеялом. «Разверзлись хляби небесные! Когда только закончится! – Красноватый сучок на стене похож был на сургучную печать, и Птаха вспомнил: – Надо сходить на почту, деньги выслать...»

Сеня Часовщик, покусывая карандаш, занимался кроссвордами – верхний кончик карандаша напоминал растрёпанную кисточку.

– Во, братва! По нашей части! – обрадовался он. – Дерево-долгожитель. Слышь, бугор?! Семь букв.

– Дуб стоеросовый. – Дуб не подходит.

– Естественно! – отшутился Зимоох. – Дерево-то не с ногами. Как оно подойдёт?

Скрипалёв «гармошку» на лбу наморщил. Посчитал что-то на пальцах.

– Секвойя. Годится?

– Кого-о? – не понял красавчик Сеня, карандашом царапая за ухом.

– Калифорнийская секвойя живёт две тысячи лет. Более ста метров высотой.

– Подошло! Силён бродяга! – Часовщик заполнил клеточки кроссворда. – Слушай, Птаха, а вот это... Десять букв...

– А на три буквы нету ничего?

Часовщик погладил жжёную «сосновую кору» на щеке. – Ты на что намекаешь?

– Сон. Три буквы, Сеня. А ты что подумал?

Мужики хохотнули, а Скрипалёв отвернулся к стене, спать не хотелось ему – хотелось побыть одному.

За окнами снова и снова сверкало. Гром по крыше дубасил, заставляя общагу испуганно «приседать». Пламя красным глазом моргало в керосинке, пустые бутылки позвякивали под столом.

Покосившись на окно, Зимоох достал крохотный окурок из пепельницы, старательно обдул, но прикурить не смог – только щетину спичкой припалил над верхнюю губой.

– И за папиросами не выйдешь! – Он заругался, уродливой клешнёй вытирая опалённую губу. – Во, как хлещет, падла!..

Эй, Сенька! Где ты?

– Картошку жарю, – откликнулся парень из кухни. – Кроссворды закончились. А что ты хотел?

– Давай сюда китайца! Тяни за яйца! Скрипалёв приподнялся.

– Какого китайца?

– А вон, под кроватью лежит. Вонючий, стерва, зато полезный. Клешней клянусь.

Думая, что его разыгрывают, Пашка недоверчиво заглянул под соседскую койку.

– Бугор, ты чо? Какой китаец? Чо ты буровишь?

– Сенька! Покажи ему.

Выйдя из кухни, Часовщик опустился на четвереньки и выволок из-под кровати пятилитровую канистру, с утра ещё аккуратно запаянную. В жестяной утробе, когда Сеня встряхнул канистру, заплескались жалкие остатки зелья – это был зелёный, страшно вонючий китайский спирт, обогащённый примесью витамина «С».

– Зелёный змий, – разливая по стаканам, рассуждал Зимоох, – он и должен быть зелёным. А как же? Это китайцы придумали против цинги. А мы его, значит, против тоски потребляем. Зубы – хрен бы с ними, выпадут, мы вставим золотые. Главное, чтобы душа не испортилась. Душу-то не вставишь запасную. Правильно, Сенька?

– Ты – бугор. Чо скажешь, то и правильно.

– По Сеньке шапка, я тебе скажу, а по ядрёной матери – колпак! – Зимоох скукожился, пригнувшись. – Фу, параша какая! Как только эти черти узкоглазые потребляют. Выпьешь, бляха-муха, и совсем окосеешь. Китайцем станешь.

Засмеявшись, Птаха удивлённо спросил:

– А где вы его взяли?

– Места надо знать. Не попробуешь?

– Нет. Пойду, прогуляюсь. – Скрипалёв натянул дождевик, собираясь на почту – деньги отправить; он всегда это дело держал на контроле.

– Чудило! – забухтел бригадир, когда двери за Птахой закрылись. – Такую собачью погоду народ коротает под водку, а он поплёлся.

«Народ» гулял, гулял – и догулялся. Ночью кто-то спросонья опрокинул керосиновую лампу, а чуть позднее кто-то окуроч на пол уронил, и началась такая свистопляска, что не дай бог – хорошо, хоть никто ещё не задохнулся в дыму пожарища.

Общежитие целиком не успело сгореть только потому, что ночью дождь усилился.

11

Хотя погода понемногу и налаживалась, но туманы держали самолёты на приколе. Солнце кроличьим глазом краснело за тучами, лишь изредка бросая свет на берега, на дальние излуины прохладной, неприветливой Лены, помутневшей от грязных ручьёв, располневшей от ливней. У причала и на рейде смутно проступали силуэты лихтеров и пароходов. Бакены в туманной пелене помигивали.

Мокрые улицы были усыпаны драными листьями и рябиновой дробью, на которую Скрипалёв почему-то не хотел наступать – жалко ягоды. Он сходил на почту, отправил деньги. (Во время ливня почта не работала).

Постояв на крыльце главпочтамта, Скрипалёв подумал, как много интересного можно увидеть в Якутске. Сходить, например, в Русский драматический театр, в институт мерзлотоведения; музей мамонта; музей хомуса – якуты очень любят этот музыкальный инструмент, который зовётся ещё варган. Да, много тут интересного. Но Скрипалёв приуныл – никуда не хотелось. Вот если бы сынишка рядом оказался, думал он, то ли обманывая себя, то ли в самом деле он бы с ним пошёл по всем этим музеям, по театрам и выставкам.

«Уныние – грех! – вспомнил Птах и заставил себя встряхнуться. – Одежка-то в общаге вся сгорела, так что вперёд...»

Он пришёл в универмаг. Там было малоллюдно – дожди поразогнали покупателей. Настроиваясь на весёлый, жизнерадостный тон, Птах сказал продавщице:

– Девушка! Надо мало-мало прибарахлиться одному народному артисту из Большого погорелого театра. Вы можете?

– А где он? Артист.

– Перед вами! – Скрипалёв ладошкой постучал по груди. Продавщица улыбнулась.

– Ну, а что бы вы хотели из одежды? Что артист предпочитает?

– Больше всего наш артист предпочитает форму номер раз: часы, трусы, противогаз. – Птах хохотнул. – Прощу прощенья. Шутка. Армейская шутка. Запомнил с гражданской войны.

Продавщица наигранно удивилась.

– А выглядите молодо.

– Я был в плену, во льдах, а потому отлично сохранился. – Он посмотрел на пиджаки, на брюки, висающие стройными унылыми рядами. – А как насчёт белого фрака? Найдётся?

Поправляя причёску, продавщица плутовато поинтересовалась:

– А тапочки вам тоже белые?

– Нет! Не дождёсь! Как сказал поэт: «Лет до ста расти нам без старости!»

Его вдруг понесло по кочкам – стал всю куражиться. Не изменяя причуде своей – чем хуже внутри, тем он лучше снаружи! – Птах начал говорить о том, что у него сегодня очень серьёзная, важная встреча.

– Жизнь, можно сказать, решается. Вот почему я должен быть одет как царь!

– Свидание, что ли? – поинтересовалась продавщица. – Угадали. Я сегодня при свечах встречаюсь с одной очаровательной дамой. – Покупатель выбрал кое-что. – А где тут у вас кабинет?

– Примерочная? А вот сюда, пожалуйста. Он переоделся, вышел, сияя улыбкой.

– Ну, как вам этот фраер? Хороший лапсердак? – По-моему, чудесно, – похвалила продавщица.

– А вот здесь? – Покупатель подёргал пиджак. – Складка смущает.

– Ничего, обомнётся.

– То есть, надо в нём поспать? Или просто выпить, в крапиве повалиться?

Пожимая узкими плечами, продавщица хихикнула. – Ну, примерьте вот этот костюм.

И опять он скрылся в «кабинете». И опять был чем-то недоволен, стоя перед зеркалом, разглядывая профиль и анфас. – Что-то не то. Как вам кажется?

– Лично мне так очень даже нравится.

– Да? А если я куплю, вам подарю, вы будете носить? Продавщица опять засмеялась.

– Простите, но это – мужской.

– А мало ли теперь таких мамзелей, которые гуляют – как облако в штанах?! Разве не так? Ну, ладно. Мы отвлеклись. Дайте-ка, пожалуйста, вон тот ещё.

Перемерив чертову уйму всевозможных костюмов, он заставил продавщицу понервничать. В начале встречи вежливая, сладенько улыбочивая, она под конец еле сдерживалась, чтоб не нагрубить. Однако Скрипалёв был непреклонен. За свои, «кровью заработанные», он требовал всё новые и новые фасоны, пока и ему самому не надоела примерка.

– Ладно, остановимся на этом. За неимением лучшего. – В новой одежде покрутившись около зеркала, Птаха остался доволен, разглядывая новоиспечённого «царя и бога». – Ну, как вам? Нравится?

– Рассчитывайтесь, – сдержанно попросила продавщица. – Без проблем! – Он деньги бросил на прилавок. – Сдачу оставьте себе.

– Ишь ты, барин какой! – Девушка, насупившись, резко вернула лишние деньги.

– Ну, извини. – Он подмигнул. – Что? Гордая? Как северный орёл?

– Какой ещё орёл? – Продавщица губки надула. Посмеиваясь, чудаковатый покупатель устремился к другому отделу.

Орла он не случайно помянул. В противоположном отделе на стене висела картина Константина Васильева, точнее, репродукция картины «Северный орёл» – суровый парень в полушубке с топором на плече.

– Заверните! – сходу попросил он, поглаживая раму. – Давно искал, не мог найти. Это мой старший брат. Из далёкой страны Плотогонии.

12

Слова имеют странную силу притягательности. Только-только он сказал, только помечтал о свидании с очаровательной девушкой, и вот, пожалуйста...

В магазине, уже на выходе, Пашка-Пташка встретил юную красавицу – неотразимую, элегантную, одетую в синие, плотно облегающие джинсы, в белую кофточку с коротким рукавом.

Она была метиска. Якутские черты лица и русские чудесным образом перемешались – и получилось нечто изумительное.

Кожа на лбу, на щеках и на шее благородно высветлилась в результате смешения крови. Глаза, утратив узкий разрез, очаровательно округлились: угольно-чёрная радужка на ослепительно белом фоне выглядела особенно привлекательной. Волос тоже высветлился, но не очень – вместо «якутской ночной темноты» волос похож на предрассветную просинь. Скрипалёв, сам себе напоминая восторженного школьника, долго шёл за юною красавицей, делая вид,

что витрины рассматривает. Под разным предлогом вперёд забежал, чтобы лучше её рассмотреть. И чем больше смотрел, тем сильнее ретивое колотилось в груди...

Накрапывал дождь. Солнце в тучах плутало – на асфальте ярко вспыхивала грязь, казавшаяся самородным золотом, поползали тени.

Спрятавшись под зонтик в виде большого пёстрого цветка, девушка двинулась куда-то за угол универмага – вызывающе громко цокали миниатюрные кованые каблучки. Потом толпа народа возникла впереди, и Птаху испугался, что потеряет девушку из виду.

Испытывая жаркое волнение, он прибавил шагу, а затем побежал, подняв над головою «Северного орла», завернутого в бумагу. Бесцеремонно толкая кого-то локтями, он извинялся на ходу и, поскальзываясь, едва не падал. Потом остановился возле торговли.

– Цветы! – поторопил. – Быстрей!

– Вам какие? – Все!

– Как это «все»? – ошалела толстая баба, дремавшая под чёрным зонтом. – Милос! «Все» – это дорого!

– Тётя! – зашипел он. – Ну что ты телишься? Сказано все, значит все!

Пашка деньги сунул – кругленькую сумму, судя по тому, как у торговли глаза округлились. Охапка цветов оказалась такая огромная, что Скрипалёв не смог эту охапку целиком донести – путь был усеян шипами и розами.

– Прошу прощенья, это вам! – запыхавшись, проговорил он, преграждая путь незнакомке.

Удивлённо распахнув глаза, девушка улыбнулась. – Мне? За что?

– За просто так! За то, что вы живёте на этом белом свете. Она засмеялась, играя милосвидными ямочками на щеках.

– Ого! Да ведь я не смогу унести!

– Ничего. Я помогу. Если можно.

– Можно. Только осторожно.

– Вот и прекрасно.

Она понюхала цветы. Покачала головой. – Никогда ещё так много не дарили. – Люди мелочатся, а я не из таковских!

– А из каковских? – игриво спросила девушка. – Откуда вы взялись?

– Есть такая страна – Плотогония. – Не слышала. И где это, интересно?

– Расскажу, но чуть позже. Давайте цветочки пристроим куда-нибудь, а то они падают в грязь. Жалко всё-таки.

– Хорошо. Сейчас пристроим. – Вас как, простите?

– Лиза. Лизавета.

– Лизабёт? Прекрасно.

За разговором они прошли куда-то в соседний двор.

Лизавета остановилась возле белой легковушки и, достав ключи, непринуждённо открыла дверцу. Лицо у Скрипалёва изумлённо вытянулось.

– Вот это да, – пробормотал он, – прямо как в кинес...

Оставив охапку цветов на заднем сидении, Пташка потоптался, не зная, что делать дальше.

Лизавета посмотрела на картину, зажатую под мышкой Скрипалёва.

– Может, вас подвезти?

– О, да! – обрадовался он. – С удовольствием! – Вам куда?

– Да с вами хоть на край земли!

– Бензину, боюсь, не хватит.

– Ну, бензин я беру на себя! – заверил он, усаживаясь рядом с девушкой и робея от такой внезапной близости – плечи их соприкоснулись.

В салоне было чисто и тепло, заиграла приятная музыка, всё пышнее, всё ароматнее запахло цветами, духами и чем-то ещё, что сводило с ума.

Несколько секунд они молчали, глядя друг на друга, затем машина плавно развернулась – навстречу солнцу, выходящему из-за туч. И в голове у Птахи зашумело, загудело от пьянящего восторга. И показалось, будто машина не едет – птицей летит над промокшими улицами, над суетою, над прозой обыденной жизни.

Происходило нечто невероятное – колдовские чары взяли власть над душой человека. Что-то подобное с ним приключилось однажды в тайге, в сердцевине страны Плотогонии.

13

Осень тогда золотыми нарядами хвасталась по таёжной глухомани. Залюбовался Пташка – и заблудился. А между тем вечерело. Солнце, огромной красной каплей смолы сползая с неба, растекалось на камнях далёкого хребта. Туман теребился пухом и перьями диких гусей. Травы источали дивный аромат, круживший голову. А где-то вдалеке за чернолесьем, за погибельным болотом словно бы звучала торжественная музыка. Скрипалёв понимал, что это не концертный зал Чайковского – это, скорее всего, западня, устроенная то ли русалками, то ли какими-то лесными нимфами. Понимал, но ничего не мог поделать – шагал и шагал бездорожьем, обрывая одежду о сучья. И тогда он вспомнил: опытные люди говорили, что нужно делать в подобных случаях, чтобы избавиться от нечистого духа. Нужно снять свою обувь и стельки перевернуть – для того, чтобы найти обратную дорогу.

Опуская голову, Скрипалёв посмотрел на блестящие новые туфли и засмеялся. Потом спохватился:

- А чего мы стоим?
- Так я ж не знаю, куда нам ехать. А почему вы смеётесь? Расскажите, вместе посмеёмся.
- Да вспомнил кое-что... Скажите, Лизабэт, а вы случаем ни того – вы не русалка?
- Нет. Я воды боюсь. Хотя родилась на реке.
- А может быть, нимфа?
- Тоже нет. А вы это к чему?
- Больно красивая! – признался парень и головой встряхнул от восхищения.
- Лизавета, польщенная, поправила чёлку, вороным крылом сбивавшуюся на глаза.
- Ну, так что? Куда мы едем? – Вокруг Земного Шара!

Машина какое-то время беспечно кружила по городу. Притормаживая то там, то здесь, Лизавета показывала здешние музеи, памятники. Рассказала о том, что до свержения царизма Якутск был местом политической ссылки – здесь побывали декабристы, народники. Пташка всё это прекрасно знал и в другое время заскучал бы. Но теперь, когда смотрел на розовые губы – самые банальные слова и цифры воспринимались как откровение. Он согласно качал головой и поддакивал, приходя в восторг от одного только вида Якутской ГРЭС, судоремонтного завода, филиала Сибирского отделения Академии Наук. Даже якутская лошадь, повстречавшаяся на зелёных задворках, в неопишемую радость приводила – низкорослая, выносливая лошадь, способная заниматься тебенёвкой – добывать себе корм из-под снега.

Свернули к набережной, откуда отваливал белосахарный трёхпалубный теплоход. Посидели, помолчали, наблюдая, как сахарная глыба растворяется в тумане. И вдруг – почти одновременно – глубоко вздохнули. Оба отметили это и, посмотрев друг на друга, заулыбались.

- После причала поехали осматривать околицу. – А вы отчаюга! – похвалил Скрипалёв.
- Почему?
- С незнакомцем за город! Не боязно? – С вами – нет.
- Вот как! Странно.
- А что такое?

– Так на мне ж три судимости. Два с половиной побега.
Она засмеялась, дразня зубами – ровными, белыми.
– Неправда.
– Вы уверены? А почему?
– Ну, человека сразу как-то видно. Он вдохнул полной грудью.
– Вот! А говорят ещё, в Якутске солнца нет. А вы? Разве не солнышко? В моем глухом окне.

Она засмеялась.
– Вы говорите как поэт. Стихов не пишете?
– Бог миловал. До последнего времени. А теперь вот, кажется, начну. Хватит быть прозаиком.

И девушка снова смеялась, ощущая в груди щемящее, жаркое чувство. «Какой хороший! – удивлялась. – Только в супермена зря играет. А вот когда серьёзно говорит, так просто прелесть. Только что-то в глазах у него... Обреченное что-то. Или мне показалось?»

Они остановились на берегу реки, на пригорке – далеко был виден стрежень, трепещущий стальным сверлом. Выйдя из машины, полюбовались пейзажами, дальше поехали. И настолько всё это было изумительно – Пташка не мог поверить счастьем своему. Говорил ей что-то, говорил, а сам спугнуть боялся неосторожным словом. – Лизабэт! А вы музыку любите?

– Очень. – Вот здорово.
– Вы к чему это клоните? Он показал глазами вдаль.
– Может, заедем в общагу? Я гитару возьму.
– В какую общагу?
– А вон там, которая вчера горела. Я гитару спасал первым делом.

14

Дом, где жила она, стоял на окраине города, на берегу спокойного заливчика. Сонная вода под берегом туманилась и нежно розовела от вечерней зари. На ветках деревьев дробинами поблескивали капли недавно промелькнувшего дождика. Дробины те, подрагивая, вытягивались продолговатыми пулями – щёлкали по листьям в тишине, по траве, дырявили мокрый песок. Изредка рыба играла, воду кольцевала, выплёскиваясь на поверхность. В стороне от заливчика проступал силуэт небольшого округлого острова. Баржа виднелась. Лодка. Мачта теплохода, стоявшего за островом, будто бы воткнулась в облака – игольчатая, серебрецом покрашенная.

Затаив улыбку, Скрипалёв стоял возле окна, любовался пейзажем.
– Жить бы здесь, не тужить, – вслух подумал.
Лизавета к нему подошла.
– Так в чём же дело? Оставайся и живи. – Да? Вот так вот запросто?
– А что?
– Ты ж меня совсем не знаешь.
– Ну, почему? Три судимости, два с половиной побега.
Они рассмеялись. В обнимку подошли к столу.
– Мечты сбываются! – прошептал он. – За это стоит выпить.
– Кто бы спорил, а я так нет...

Легкое вино вскружило голову, и Птаха стал дурачиться.

В спальне на стене висела грозная маска древнего якутского шамана, костюм, пошитый из оленьей шкуры, украшенный бубенцами и разноцветными лентами. Птаха снял костюм со стенки. Прикинул на себя – потом на Лизавету.

– А пошаманить? – весело спросил. – Слабо?

- Нет проблем. Только надо бы свет погасить.
- А как же я увижу?
- А мы свечки зажжем.
- Ну, давай, шаманка.

Пламя нескольких свечей наполнило комнату бликами, таинственными тенями. Дымок и аромат каких-то благовоний закружился в воздухе. Лизавета, переодетая в костюм шамана, стала легкая на ногу, ловкая – изящно взялась приплясывать, потешно подпрыгивая и что-то напевая по-якутски. Распущенные волосы звенели серебром – монисто дождём разлеталось, то прикрывая, то обнажая упругую грудь. Скрипалёв, подливая масла в огонь, петухом ходил вокруг да около, выюном вертелся возле «шаманки». Подхватил гитару и взялся напевать частушки-нескладушки – не похуже того Бубенчика, учителя музыки, умевшего импровизировать.

Лизавета шаманила так самозабвенно, так сильно потрясала гибким телом, что костюм вдруг сорвался – упал под ноги.

И Пашка-Пташка, обалдев, чуть не упал. Она стояла перед ним – в чём мама родила.

Потом лежали рядышком, взволнованно дыша и глядя словно бы сквозь потолок – в небеса, куда взлетели души их, подкинутые силой несказанной страсти и золотой силой любви. Лежали и молчали. Словно ждали, когда их души из поднебесья возвратятся в грешные тела, раскалённые общим огнём, постепенно гаснущим, но всё ещё нервно обжигающим сквозь тонкую, мятую простынь, отдающую запахом свежего снега и цветочной поляны.

Приходя в себя после «добровольного безумия», Пашка-Пташка маялся необъяснимым чувством – чувством благодарности и чувством какой-то смутной вины. Ему казалось, что он слишком грубо и нетерпеливо, как дикий зверь, овладел этим хрупким созданием. Но женщина время от времени так прижималась к нему, что вскоре чувство вины улетучилось. Птаха руки её поцеловал, – смутно пахли бензином.

Ему хотелось говорить о каких-то высоких материях, чтобы понравиться ещё больше. А заговорил он о вещах довольно прозаичных.

- Давно машину водишь?
- Давно. Да скоро брошу.
- Зачем? У тебя хорошо получается. Лизавета усмехнулась, глядя в потолок. – Сено косить надоело.
- А сено причём здесь?
- Такой у нас порядок. Здесь теперь люднэро сено косят – только шум стоит.
- Совсем ты меня запутала. – Скрипалёв потёр виски. – Что такое «люднэро»?
- Это значит люди – в большом количестве.
- Понял. Люди косят сено. А машины причём? Вы их сеном кормите?
- Ну, да. Наши власти, мудрецы, знаешь, что придумали?

Обхохочешься. Им нужно план выполнять по сенажу, так они состряпали приказ: каждый водитель частного транспорта должен сено сдать государству.

– Ничего себе! – Скрипалёв приподнялся на локте, чтобы лучше видеть милое лицо. – А если не сдашь?

- Не получишь бензин.
 - Оригинально. – Птаха опустился на подушку. – Хотя всё правильно. Теперь Лизавета привстала.
 - То есть, как это – правильно? Почему?
- Он погладил её волосы, тёмной шалью свисающие на подушку.
- А сколько у тебя в хозяйстве лошадей? Под капотом.
 - Ну, там... Сто десять, кажется.

– Вот. Их же надо кормить. Хорошо, хоть план по сенажу. А если бы сказали заготавливать овёс? Представляешь, какая морока была бы этим вашим... люднэро.

– Ой, правда. – Она зазвонисто расхохоталась, запрокинув голову. – Вот спасибо, успокоил сердце амазонки!

Опять они – беспамятно и нежно, молча – лежали, распластавшись в голубой вечерней тишине.

Пхата осторожно руку опустил ей на грудь.

– Никакая ты не амазонка. Знаешь, почему? Настоящие амазонки отрезали себе одну грудь, чтобы сподручнее стрелять из лука.

– Фу, какая мерзость. – Лизавета поморщилась. – Правда, что ли?

Улыбаясь, он пожал плечами.

– Так гласят легенды и предания. – А ты откуда знаешь?

– А я на днях букварь законспектировал.

Опять они смеялись, глядя друг на друга. Хорошо было, просто чудесно. И только странная какая-то тревога, тихо защемившая сердце плотогона, не давала покоя – на подсознательном уровне. Опять ему припомнилась тайга, тёмная глушь, которой заблудился и неожиданно услышал изумительную музыку, и чуть не пропал на болотах, куда завела, заманила нечистая сила – он в этом был уверен.

«Может, стельки поменять да уходить? – Скрипалёв усмехнулся. – Неужели правду говорят, что если стельки сменять – задом наперёд перевернуть, то найдёшь обратную дорогу, спрятанную нечистой силой? Сказки? Или нет?»

Улыбаясь этим странным мыслям, Птахта посмотрел за окно – почудился звук летящего лайнера. И невольно вспомнилось о родительском доме, о сыне. Да, надо лететь. Что он делает здесь? Ведь ничего же не выйдёт из этого якутского романа. Разве такой нужен муж Лизавете? Он же отравлен дорогами и уже не сможет остановиться, чтобы спокойно жить в каком-нибудь одном, даже самом раскрепасном доме. Так зачем же пудрить ей мозги?

Надо бы уйти, а силы нет. Ни силы, ни желания. Как тогда – в тайге, где он надышался болотным дурманом. Да ведь как уйдешь-то, если счастлив без ума, без памяти? Он, может быть, всю жизнь мечтал об этой встрече, о такой вот обжигающей любви, сметающей рассудок, отвергающей всякие железные доводы: так можно, а так нельзя.

Они молчали. Только свечи в тишине «разговаривали», да то шепотком фитилей, словно боясь нарушить очарование редких, волшебных минут, которые, увы, не бесконечны.

Рассудок потихоньку начинал довлеть над чувствами. – Лиза, а чей это дом?

Отвечала она неохотно. – Родителей моих.

– А где они?

– В отпуск уехали. – А кто они у тебя?

– Простые советские труженики. Звёзды с небес не хватают. Он сел, скрестивши ноги под простыней.

– А ты? Чем занимаешься?

– Шаманю понемногу. – Лизавета улыбнулась. – Учусь в Ленинграде, в институте народов Севера.

– А что там изучают?

– Много чего. Языки, например. Финский, хантыйский, саамский. Изучают уровень алко-голизации коренных народов.

– Ну, и каков этот уровень?

– Такой, что наводит на мысль о вымирании.

Он что-то ещё хотел спросить, но только шевельнул губами улыбочиво, блаженно вздохнул, закрывая глаза – ни говорить, ни думать не хотелось. Он расслабился душой и телом.

Зато Лизавета была не расслаблена. Посмотрела на шаманский наряд, так и оставшийся лежать на полу с той минуты, как сорвался с гибкого тела. Лизавета встала, чтобы поднять наряд и вернуть на место. По комнате прошлась – в чём мама родила. Походочка неслышная, будто «пушистая». А фигурка-то, фигурка, ё-моё!.. Пашка-Пташка зубами скрипнул и, точно от сильного света, прищурился – даже слёзы на ресницы навернулись. Господи! Вот красота, так красота! Аж сердце ломит – кажется, вот-то заклинит в рёбрах.

– Знаешь, – сказал он, подстраивая гитару, – есть такая песня... Народная, что ли? «Сыпал снег буланому под ноги». Не слышала? Я почему её вспомнил? Там про меня поётся. Ехал-ехал парень, спешил домой, да так и не доехал.

– Почему?

– Влюбился. – И что дальше?

– Ну и остался у неё на хуторке.

– Да? Я бы с удовольствием послушала.

Никогда ещё Птаха так задушевно не пел – столько нежности было, столько горячего чувства.

Сыпал снег буланому под ноги,
В спину дул попутный ветерок,
Ехал долгожданною дорогой,
Заглянул погреться в хуторок.
Встретила хозяйка молодая,
Как встречает родного семья,
В горницу любезно приглашая,
Ласково смотрела на меня...

Струна неожиданно лопнула. Птаха замер, глядя на стальную паутинку, свернувшуюся кольцами.

– Видать, не судьба. – Он поднялся, оставляя гитару покое. – А где мой «Северный орёл»? Ты принесла? – Там, на кухне.

Он зашуршал бумагами, разворачивая картину.

– Слушай, Лиза, Лизабэт! Давай, я подарю тебе этого орла.

На память. Ну, что я с ним буду таскаться? – Зачем же тогда покупал?

Скрипалёв не ответил. Поставил репродукцию на табурет, прислонённый к стене.

– Видишь, красавец какой. – Ох, ты! На тебя похож!

– Ну, не знаю, не знаю. Вам из-за печки видней.

– Похож, похож! – развеселившись, настаивала Лизавета. – Если надеть на тебя полушубок, дать в руки топор – будет настоящий северный орёл!

Порывшись по карманам новенького пиджака, Птаха достал свой билет на самолёт.

– А спички в этом доме есть?

– Найдутся. А зачем тебе? – Билет хочу спалить!

Губы Лизаветы дрогнули. – Ты что? Сдурел? Зачем?

– Сжигаю мосты за собой! – высокопарно провозгласил он.

– Какие мосты?

– Здесь хочу остаться. – Он развёл руками. – Дождусь твоих родителей, скажу, берите меня в примачи, буду сено косить для машин.

Глаза её медленно, странно померкли.

Задумавшись, Лизавета уставилась куда-то в дальний угол. – Ты что? – заметил он. – Не рада?

– Рада. Почему?

– Глядя на тебя, не скажешь этого. В чём дело?

Она помедлила.

– Дело в том, что ты меня... ты меня тоже совсем не знаешь.

Голос её прозвучал отчуждённо, казённо.

– Что ты хочешь сказать? – Скрипалёв настороженно посмотрел на неё. – Мне кажется, ты чего-то не договариваешь.

– Дай мне водки, Паша.

– Кого? – Он вскинул брови. – Я не понял. Но у нас только вино.

– Там, в холодильнике.

– Так ты же... Ты сказала, что пьёшь только лёгкое...

– В тяжелую минуту можно и тяжелого хлебнуть. – А что случилось? Что за минута?

– Не минута, пожалуй. Момент. – Лизавета обняла сама себя. – Момент истины.

Он медленно поднялся. Рубаху застегнул на груди. – Странно говоришь.

Тревога в душе нарастала. «Что-то здесь не то! Не то!»

Взволнованно бродя по комнатам, он стал приглядываться, как в тайге приглядывался, когда был с карабином на охоте. И вскоре не мог не заметить, что квартира эта мало прибрана, мало ухожена – редко посещали. На кухне размеренно постукивали настенные часы – пыльная гирька почти дотянулась до пола. Заглянув в холодильник, Пашка хмыкнул: примерно так живут холостяки – бутылка водки да хвост селедки. Холодильник почти пустой, если не считать огрызок малосольной нельмы, две-три мёрзлых оленьих печёнки и недопитую бутылку водки. Задержавшись у раскрытой дверцы, Скрипалёв почувствовал недобрый холодок, проникающий не тело – в душу.

Лизавета крикнула: – Ты где пропал?

– Иду...

Он покружил по кухне. За шторку заглянул – увидел сигареты. Под лавку посмотрел – запчасти для машины. В ящиках кухонного стола валялись пыжи, пустые металлические гильзы. Раздавленная брусника на полу показала капли засохшей крови – здесь давно не прибирали.

Птаха вернулся с бутылкой, тихо спросил: – А кто твой отец? Охотник?

Она вдруг затряслась от мелкого, нервного смеха.

– Да, он большой охотник. До вина, до водки. До молодки...

Скрипалёв, нахмурившись, глядел в упор. – Что это значит?

Она спохватилась.

– Извини, я шучу. Ты чего такой, Птаха?

– Какой?

– Напрягся весь. Как Ленин на субботнике.

Лизавета, поначалу говорившая культурно, вежливо, как хорошо воспитанная барышня, понемногу стала забываться, и в речь её все больше, больше вплетались то пошлости, то вульгаризмы.

Задумчиво глядя мимо неё, Птаха отметил: – Да и ты чего-то напряглась.

Молчание, совсем ещё недавно такое непринуждённое, становилось тягостным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.